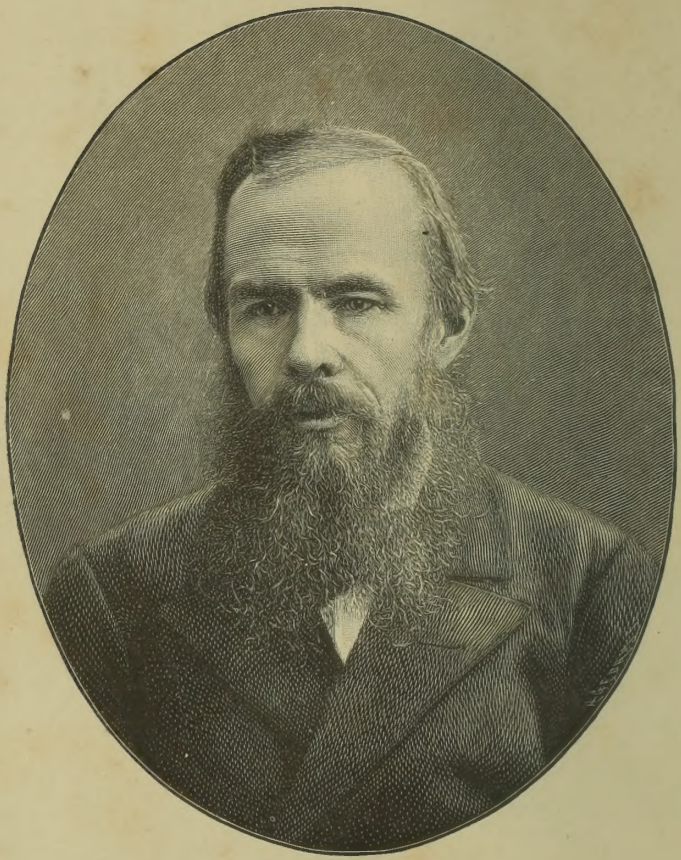
Solov'ev

F. DOSTOEVSKIĬ, EGO ZHIZN' I LITERATURNAIA DEIATEL' NOST'.

DUKE
UNIVERSITY

LIBRARY



Ѳ. М. Достоэвскій.

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

Ѳ. ДОСТОЕВСКІЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Е. Соловьева.

E. Solov'ev

Съ портретомъ Достоевскаго, гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ

ЦѢНА 25 КОП.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ТИПОГРАФІЯ ТОВАРИЩ. «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА», Б. ПОДЪЯЧ., 39

1891

БИБЛІОТЕКА ПОЛЕЗНЫХЪ ЗНАНІЙ,

издаваемая Ф. Павленковымъ.

Въ составъ ея вошли пока (іюль 1891 г.), слѣдующія книги:

Ручной трудъ. Составилъ Графиньи. Домашнія занятія ремеслами. Съ франц. 400 рис. Ц 1 р. 50 к. —**Электрическіе звонки.** Боттона. Съ краткими свѣдѣніями о воздушныхъ звонкахъ. Съ 114 рис. Пер. съ англ. и дополнилъ Д. Головъ. Ц. 1 р.—**Руководство къ рисованію акварелью.** А. Кассаня. Съ франц. Съ 150 рис. Ц. 1 р. 50 к.—**На всякій случай!** А. Альмедингена. Научно-практическіе совѣты по полеводству, садоводству, огородничеству, домоводству, по борьбѣ съ вредными насѣкомыми, грибами и паразитами, а также съ фальсификаціей пищевыхъ и другихъ веществъ. Ц. 50 к.

Популярно-научныя книги.

ПРЕДСКАЗАНІЕ ПОГОДЫ. Далле. Перев съ франц. Съ 41 рис. Цѣна 1 р. 25 к.
ФИЗІОЛОГІЯ ДУШИ. А. Герцена. профессора Лозан университета. Предисл. Герцена-отца. Съ франц. Ц. 1 р.
МІРЪ ГРЕЗЪ. Д-ра Симона. Сновидѣн. галлюцинаціи, сомнамбулизмъ, экстазъ. гипнотизмъ, иллюзіи. Съ франц. Ц. 1 р.
РУЧНОЙ ТРУДЪ. Составилъ Графиньи Домашнія занятія ремеслами. Съ франц 400 рис Ц. 1 р. 50 к
ЭКСТАЗЫ ЧЕЛОВѢКА. П. Монтегацца Пер. съ 5-го итальян. изд. Ц 1 р. 50 к.
ПРОГРЕССЪ НРАВСТВЕННОСТИ. Летурно. Перевела съ франц. Эл. Зауеръ. Ц. 1 р. 50 к.
УМСТВЕННЫЯ ЭПИДЕМІИ. Д-ра Реньяра. Перевела съ франц. Эл. Зауэръ Съ 110 рис Ц. 1 р. 75 к
КОТОРЫЙ ЧАСЪ? И. Вавилова. Провѣрка часовъ безъ помощи часовщика и устройство солнеч. часовъ. Съ 13 рис Одобрено Академіей Наукъ. Цѣна 30 к
СВѢТЪ БОЖІЙ. Популярные очерки міровѣдѣнія. 5-е изданіе, въ первый разъ иллюстрированное 60 рис. Ц. 30 к.
ОБЩЕДОСТУПНАЯ АСТРОНОМІЯ. Фламмаріона Съ франц. 100 рис. Ц. 1 р. 25 к
ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ АККУМУЛЯТОРЫ. Э Ренье. Перевелъ и дополнилъ Д. Головъ Съ 76 рис. Цѣна 1 р. 25 к.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВѢЩЕНІЕ В. Чиколева. съ 151 рис. Ц. 2 р. 50 к.
ЧУДЕСА ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. В Чиколева. Ц. 30 к.
О БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧ. ОСВѢЩЕНІЯ В Чиколева. Ц. 25 к
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНИТИЗМЪ А Гано и Ж Маневрье. Перев Ф Павленкова, В Черкасова и С. Степанова Съ 340 рис. Ц 1 р. 50 к
СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКѢ. В Чиколева. Ц. 75 к.
ПОПУЛЯРНЫЯ ЛЕКЦІИ ОБЪ ЭЛЕКТРИЧЕСТВѢ И МАГНИТИЗМѢ. О. Хвольсона. Съ 230 рис. 2-е изданіе. Ц. 2 р
ГЛАВНѢЙШІЯ ПРИЛОЖЕНІЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. Э. Госпиталье. Пер. С. Степанова, со 145 рис. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВЪ ДОМАШНЕМЪ БЫТУ. Э Госпиталье. Пер. съ франц. С. Степанова. Со 157 рис. Ц. 2 р.
ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ ЗВОНКИ. Боттона. Съ краткими свѣдѣніями о воздушныхъ звонкахъ. Съ 114 рис. Перев. съ англійскаго и дополнилъ Д. Головъ. Ц. 1 р.
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОПАТЫ. Д ра Кюлера. Переводъ съ франц. Ц. 1 р. 50 к
ПСИХОЛОГІЯ ВНИМАНІЯ. Д-ра Рибо. Переводъ съ французскаго. Ц. 50 к.
ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИК. ЛЮДЕЙ. Жоли. Перев. съ франц. 2-е изд. Ц. 1 р.
ГЕНІАЛЬНОСТЬ И ПОМѢШАТЕЛЬСТВО. Ц. Ломброзо. Съ рис. Ц. 2 р
ЧТО СДѢЛАЛЪ ДЛЯ НАУКИ Ч. ДАРВИНЪ? Съ портретомъ Дарвина. Переводъ Г. Лопатина, Ц. 75 к.
ХЛѢБНЫЙ ЖУКЪ. Чтеніе для народа. съ 3 рис. Барона Н. Корфа. Ц. 10 к.
ВРЕДНЫЯ ПОЛЕВЫЯ НАСѢКОМЫЯ. Сост. Иверсенъ. Съ 43 рис. Ц. 80 к.
ВОЗДУШНОЕ САДОВОДСТВО. Н. Жуковскаго Съ 72-мя рис. Ц. 60 к.
ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ. Сост. Г. Гисандье. Съ рис. Переводъ съ француз. Ц. 50 к.
СОЦІАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ. Эспинаса. Перев. съ франц Ф. Павленковъ. 500 стр., Ц 2 р. 50 к.
ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДІАГНОСТИКА. Профес. Да-Коста Съ нѣм 704 стр., 43 рис. Ц. 3 р. 50 к
ЕДИНСТВО ФИЗИЧЕСКИХЪ СИЛЪ Опытъ популярно-научной философіи А. Секки. Перев. съ франц. Ф. Павленкова 2-е изд. Ц 2 р. 50 к

Дозвол. ценз. С.-Петербургъ, 18 іюля 1891 г.

891.73
D724ZSO

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

I. ВВЕДЕНІЕ.

Достоевскій и беллетристы 40-хъ годовъ.—Особенности.—Литературный пролетарій.—Вѣчное безденежье и вѣчная кабала.—Вліяніе города.—Городскія темы и городскія лица.—Психопатологія и психопатія 5

II. Дѣтство.—Городъ и деревня.—Деревенскія впечатлѣнія.—Мужикъ Марей.—Великое и святое.—Угрюмый отецъ.—Семейная жизнь.—Буквари, начатки грамматики.—Жоржъ Зандъ 17

III. Смерть матери и переѣздъ въ Петербургъ.—Лучъ идеализма.—Дурныя впечатлѣнія.—Инженерное училище.—Одиночество.—Тяжелая юность.—Бѣдные люди.—Разрывъ съ Бѣлинскимъ.—Неудачи—Болѣзнь 28

IV. Кружокъ Петрушевскаго.—Арестъ.—Ссылка на каторгу.—Вліяніе каторги на характеръ и міросозерцаніе Достоевскаго 46

V.—Возвращеніе изъ ссылки.—Изданіе „Времени“ и „Эпохи“.—Женитьба.—Годы за границей 64

VI.—Слава 76

VII.—ИТОГИ.

Что далъ намъ Достоевскій.—Кающійся интеллигентъ.—Разладъ съ народомъ.—Необъятная сила 88

ГЛАВНЫЯ ПОСОБІЯ

1) *Ѳ. М. Достоевскій.*—Полное собраніе сочиненій.
2) *Панаевъ.*—Литературныя воспоминанія.
3) *Панаева-Головачева.*—Писатели и артисты.
4) *А. М. Скабичевскій.*—Исторія новѣйшей литературы.
5) *Чижъ.*—Достоевскій, какъ психопатологъ.
6) *Статьи о Достоевскомъ*: а) Бѣлинскаго.
б) Добролюбова.
в) Страхова.
г) Н. К. Михайловскаго.
7) «*Время*» и «*Эпоха*» — журналы, издававшіеся подъ редакціей Ѳ. М. Достоевскаго.

И мн. др.

I.

ВВЕДЕНІЕ.

Достоевскій и беллетристы 40-хъ годовъ.—Особенности. — Литературный пролетарій.—Вѣчное безденежье и вѣчная кабала.—Вліяніе города. — Городскія темы и городскія лица. — Психопаталогія и психопатія.

Имя Ѳед. Мих. Достоевскаго упоминается обыкновенно на ряду съ именами Толстого, Тургенева, Гончарова, и никто, я думаю, не станетъ отрицать за нимъ права быть поставленнымъ въ первыхъ рядахъ «стаи славной» беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Но если и возможно сближать Достоевскаго съ его сверстниками съ точки зрѣнія мѣста, времени, силы таланта и общности «литературнаго происхожденія» (отъ Гоголя), то подобное сближеніе очень трудно и потребуетъ самыхъ замысловатыхъ натяжекъ, разъ мы перейдемъ къ духу, смыслу и формѣ произведеній. Всѣмъ этимъ Достоевскій уже обязанъ преимущественно себѣ и страннымъ обстоятельствамъ своей личной жизни. Это—его неотъемлемая собственность, въ которой ярко выразилась его рѣзко очерченная индивидуальность, его болѣзненный психопатическій геній, оригинальность его мышленія и фантазіи, не имѣющая ничего подобнаго и равнаго въ русской литературѣ. Положительно трудно не согласиться съ словами Н. Н. Страхова изъ его письма къ Достоевскому: «очевидно. по содержанію, по обилію и разнообразію идей вы у насъ первый человѣкъ, и самъ Толстой, сравнительно съ вами, однообразенъ. Этому не противорѣчитъ то, что на всемъ вашемъ лежитъ особенный и рѣзкій колоритъ». Въ чемъ-же эта всѣми замѣченная, но никѣмъ вполнѣ ясно не формулированная особенность всей жизни и всей дѣятельности Достоевскаго? Кой какія параллели дадутъ намъ отвѣтъ на этотъ вопросъ.

Въ произведеніяхъ Гончарова и въ особенности Тургенева вамъ прежде всего бросается въ глаза удивительная отдѣлка формы.

Все вызолочено, вылощено, вылакировано, отполировано; каждое слово на своемъ мѣстѣ, каждая фраза не только закруглена, но и отшлифована. Ни одной лишней, ненужной подробности, ни одной страницы, въ которой было бы замѣтно утомленіе или неровность таланта. Каждое произведеніе такъ и просится въ переплетъ съ золотымъ обрѣзомъ. Каждая фигура, каждая даже мимолетно появляющаяся на сцену личность (у Тургенева)—точно изъ мрамора выточена: ни прибавить, ни убавить нельзя ничего. Видно, что это десятки разъ обдумывалось и передумывалось, писалось и переписывалось и только потомъ уже давалось публикѣ на прочтеніе, съ полной увѣренностью въ успѣхѣ, безъ всякой торопливости, безъ всякихъ заискиваній. Хорошо такъ работать и счастливъ тотъ художникъ, который можетъ такъ работать. Но для этого нужны прежде всего средства и выдержка (внутренняя дисциплина). Ни того, ни другого у Достоевского не было. Во всю свою жизнь только двѣ вещи онъ написалъ не наспѣхъ и не къ сроку. Это «Бѣдные люди»—первый его романъ и «Братья Карамазовы»—послѣдній. Все остальное писалось столько же изъ потребности, сколько и изъ за заработка, когда, бывало, и ѣсть нечего, и самъ Достоевскій по уши въ долгахъ сидитъ въ Сибири или за границей. Оттого-то, за весьма малыми исключеніями, у Достоевскаго нѣтъ ничего выдержаннаго, обработаннаго. Иногда цѣлая сотня страницъ производитъ впечатлѣніе какой-то papier machée и только вдругъ, въ концѣ, геній, преодолѣвъ усталость, проявляется во всю мощь, точно молнія прорѣзываетъ тучи и освѣщаетъ всю картину фантастическимъ, дивнымъ блескомъ. Обыкновенно-же это тысячи ненужныхъ подробностей, десятки отдѣльныхъ интригъ, нагроможденныхъ другъ на друга, частыя перемѣны темъ, внезапныя появленія новыхъ героевъ и героинь. Все это наспѣхъ, наскоро, съ натугами и порывами, кризисами творчества, молніеносными проблесками генія и удручающимъ вымучиваніемъ. Но иначе было нельзя: копить деньги Достоевскій не умѣлъ и зачастую запродавалъ, вмѣсто романа, бѣлый листъ бумаги, причемъ «мошенники» издатели «огараживали свои интересы разными неустойками. Разверните переписку Достоевскаго; вѣдь это одинъ и тотъ-же мотивъ: «денегъ, денегъ, денегъ!» и мало мальски чувствующій и мыслящій человѣкъ пойметъ, какая трагедія разыгрывалась въ душѣ великаго писателя, которому къ такому-то сроку непремѣнно надо приготовить такое-то количество листовъ. Разъ попавши въ лапы

т. Краевскихъ, Стелловскихъ, Достоевскій только подъ конецъ жизни вырвался изъ нихъ. Какой-же силы долженъ былъ быть талантъ, успѣвшій проявить себя во всю мощь, несмотря на нищету, каторгу, падучую и рѣзкіе признаки если и не помраченія, то во всякомъ случаѣ психопатизма, по нашему—истеричности?..

Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ писали и пишутъ, потому что у нихъ была потребность писать, такая-же неотразимая, «органическая», какъ у другихъ ѣсть, пить, спать. Литература и для нихъ главное дѣло жизни, но не будь у нихъ таланта, они преспокойно прожили бы и безъ нея. Пишу потому, что пишется, потому, что хочется писать. Это завидная участь. Для Достоевскаго литературная дѣятельность была столько-же потребностью, сколько и необходимостью. Онъ самъ себя не разъ называлъ литературнымъ пролетаріемъ и называлъ совершенно основательно, хотя успѣхъ и удача пріобрѣтались имъ сравнительно легко. Какъ ни великъ былъ его геній, спѣшка портила дѣло, коверкала его и терзала великую писательскую душу, заставляя то съ злобой, то съ отчаяніемъ повторять: «эхъ, кабы хоть одинъ романъ написать такъ, какъ пишутъ Тургеневы да Толстые»... А сколько униженій, сколько невидныхъ самолюбивыхъ мукъ, сколько зависти и ревности къ другимъ, болѣе счастливымъ, которымъ отъ рожденія дано то, чего ему, Достоевскому, удалось достичь лишь трудомъ цѣлой жизни, т. е. матеріальнаго обезпеченія! Приходилось выпрашивать и вымаливать авансы, сотни, десятки рублей, выслушивать упреки за несвоевременную доставку заказовъ, писать, несмотря на припадки, и пр.! Жизнь Достоевскаго—это полная трагизма борьба генія съ рынкомъ...

Но вмѣстѣ съ этимъ Достоевскій до страсти любилъ литературу и внѣ ея не искалъ ни заработковъ, ни занятій. Онъ съ гордостью называлъ себя литераторомъ, хотя и нищимъ литераторомъ, и даже обижался, когда ему предлагали занять какую нибудь казенную должность или что нибудь въ этомъ родѣ. Только по временамъ срывались у него невольныя проклятія, когда нужда слишкомъ ужь начинала давить, но и тутъ онъ твердо оставался на посту. Вотъ любопытный отрывокъ изъ одного письма, достаточно характеризующій эту душевную трагедію литературнаго пролетарія. Дѣло въ томъ, что Кашпиревъ (редакторъ «Зари»), не выслалъ ему къ сроку 75 рублей. Достоевскій разражается слѣдующими стро-

ками: «Неужели онъ думаетъ, что я писалъ ему о своей нуждѣ только для красоты слога! Какъ могу я писать, когда я голоденъ, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложилъ! Да чортъ со мной и съ моимъ голодомъ! Но вѣдь она (жена) кормитъ ребенка, чтожь, если она послѣднюю свою шерстяную юбку идетъ сама закладывать! А вѣдь у насъ второй день снѣгъ идетъ (не вру, справьтесь въ газетахъ), вѣдь она простудиться можетъ! Неужели онъ не можетъ понять, что мнѣ стыдно объяснять ему все это! Да неужели уже онъ не понимаетъ, что онъ не только меня, но и жену мою оскорбилъ, обращаясь со мной такъ небрежно, послѣ того, какъ я писалъ ему о нуждахъ жены. Оскорбилъ, оскорбилъ!...—Онъ скажетъ, можетъ быть: «а чортъ съ нимъ и съ его нуждой! Онъ долженъ просить, а не требовать» и т. д. И такую вещь приходится писать автору «Бѣдныхъ людей», «Записокъ изъ Мертваго дома», «Преступленія и наказанія»!.. Фразы же, вродѣ: «я до того заработался, что отупѣлъ, и голова какъ забитая»—повторяются постоянно.

И все-же Достоевскій не только не оставлялъ, но даже и не думалъ оставить своей литературной лямки.

Оставимъ однако борьбу съ рынкомъ въ сторонѣ и перейдемъ къ другой сторонѣ вопроса. «Ловкій французъ или нѣмецъ,—писалъ Н. Н. Страховъ къ Достоевскому,—имѣй онъ десятую долю вашего содержанія, прославился бы на оба полушарія и вошелъ бы первостепеннымъ свѣтиломъ въ исторію всемірной литературы. И весь секретъ, мнѣ кажется, въ томъ, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вмѣсто двадцати образовъ и сотни сценъ остановиться на одномъ образѣ и десяткѣ сценъ». Этотъ совершенно вѣрно указанный недостатокъ—(такъ какъ сущность литературнаго таланта въ томъ и состоитъ, чтобы съ наименьшими затратами выраженія—въ широкомъ смыслѣ слова—произвести наибольшее впечатлѣніе на читателей)—происходитъ отчасти отъ спѣшки въ работѣ, отчасти и отъ другихъ причинъ. Дѣло въ томъ, что талантъ Достоевскаго, талантъ совсѣмъ особенный, исключительный. Владѣть имъ онъ такъ и не научился до конца жизни. Это талантъ неровный, вспыльчивый, раздражительный, до послѣдней степени нервный и капризный. Чтобы написать простое письмо, Достоевскому нужно было вдохновеніе, иначе у него и двухъ строкъ не выходило. Свои темы онъ бралъ сразу, приступомъ, однимъ размахомъ рисовалъ самые сложные свои

типы (напр. Ив. Карамазовъ, Раскольниковъ, Свидригайловъ), а не подбирался къ нимъ исподтишка, понемногу. Великій мастеръ въ психологическомъ анализѣ, Достоевскій совсѣмъ не былъ мастеромъ въ детальной живописи. Онъ не могъ такъ возиться,такъ разглядывать, такъ разрѣзывать по частямъ своихъ героевъ, какъ Толстой; не умѣлъ такъ вырисовывать ихъ, какъ Тургеневъ; но онъ, какъ никто, умѣлъ жить съ ними, страдать съ ними, мучиться и волноваться. Созерцательности въ немъ не было ни на іоту, оттого-то творчество такъ истощало его. Въ то время какъ Гончаровъ смотритъ на жизнь удивительно умнымъ, понимающимъ и въ то же время удивительно сытымъ взглядомъ, Достоевскій— весь нервы, весь напряженіе, весь мука и томленіе. Когда Толстой стоитъ передъ вами, вперивъ свой испытующій геніальный взглядъ въ самую глубину души человѣческой, творя судъ надъ правымъ и неправымъ съ медлительностью всеиспытавшаго и всепостигшаго генія, Достоевскій или проклинаетъ, или благословляетъ, съ любовью или съ ненавистью, но всегда со страстью. Отсюда эта страстность, нервность, неровность таланта, это вѣчное клокотаніе въ груди, мучительно любящей, мучительно ненавидящей.

Повидимому, виноватъ въ этомъ личный, по наслѣдству полученый Достоевскимъ характеръ, его, какъ сейчасъ увидимъ, *истеричность*, а потомъ и еще одно обстоятельство, особенно хорошо и мѣтко указанное А. М. Скабичевскимъ въ его «Исторіи новѣйшей русской литературы». «Въ то время, какъ большинство беллетристовъ 40-хъ годовъ, будучи выходцами изъ деревень, принадлежатъ къ рыхлому помѣщичьему типу, Достоевскій является представителемъ разночиннаго, служилаго класса общества, холерически нервнымъ сыномъ города; а, во вторыхъ, въ то время, какъ большинство ихъ были люди обезпеченные, Достоевскій одинъ среди нихъ принадлежалъ къ вновь возникшему классу интеллигентнаго пролетаріата». Этому сыну города, интеллигентному пролетарію, всегда раздраженному, всегда разстроенному, ведшему такую упорную, отчаянную борьбу съ жизнью и рынкомъ, некогда было созерцать, смаковать и вырисовывать своихъ героевъ. Его безпокоитъ жизнь, ея матеріальная сторона, ея нравственныя проблемы. Онъ какъ бы сторонится отъ красоты, изящества, наслажденія. Онъ терпѣть не можетъ никакихъ художественныхъ аксессуаровъ. Жизнь — это ужасно серьезная, ужасно трудная, даже жестокая вещь. Гдѣ тутъ цѣловаться да миловаться —

или описывать поцѣлуи да милованья. Жизнь—задача, долгъ, обязанность, борьба наконецъ, послѣ которой руки и ноги будутъ въ крови. Поэтому въ произведеніяхъ Достоевскаго вы не найдете ни очаровательныхъ описаній природы, ни захватывающихъ сценъ любви, свиданій, поцѣлуевъ, ни обворожительныхъ женскихъ типовъ. Все это Достоевскій отрицалъ въ принципѣ. Въ «Бѣсахъ», въ лицѣ писателя Кармазинова, онъ потѣшался надъ Тургеневымъ за его «страсть изображать, напр., поцѣлуи не такъ, какъ они происходятъ у всего человѣчества, а чтобы кругомъ росъ дрокъ или какая нибудь другая трава, о которой надо справляться въ ботаникѣ, причемъ и на немъ долженъ быть непремѣнно какой нибудь фіолетовый оттѣнокъ, котораго конечно никто никогда не видалъ, а дерево, подъ которымъ усѣлась интересная пара, непремѣнно какого нибудь оранжеваго цвѣта». Этотъ пуризмъ очевидно происходилъ отъ слишкомъ серьезнаго, слишкомъ вдумчиваго отношенія къ жизни, которая представлялась Достоевскому, *какъ религіозная проблема прежде всего.* Все равно, какъ каждаго его героя жизнь прежде всего *мучаетъ*, такъ она мучила и его самого. Гдѣ тутъ описывать поцѣлуи интересныхъ паръ!.. Это то ужь, несомнѣнно, взглядъ на жизнь тяжкодума, городского пролетарія.

Сынъ города видѣнъ также и въ выборѣ сюжетовъ. Баре Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ баръ прежде всего и рисовали и, какъ дополненіе къ нимъ, мужика. Третьяго сословія, горожанъ, мѣщанъ, разночинцевъ они почти не затрогивали, иногда развѣ преимущественно для ради «опроверженія». Изящнаго общества Достоевскій не зналъ и не выводилъ на сцену въ своихъ произведеніяхъ. Міръ чиновничества, интеллигенціи, городского пролетаріата—вотъ его сфера. «Онъ любитъ вводить читателя въ городскіе вертепы, трущобы, гдѣ царятъ нищета и развратъ. Онъ даже, какъ Диккенсъ, проникнутъ ихъ мрачной поэзіей. Не вдаваясь въ описаніе красотъ природы, онъ очень часто развертываетъ передъ читателемъ иного рода ужасающія картины, отъ которыхъ мурашки ползутъ по спинѣ. Это въ особенности Петербургу свойственная картина городскихъ улицъ ночью, въ осеннее ненастье или зимнюю вьюгу, когда всѣ, у кого есть теплый кровъ, прислушиваются къ завываніямъ бури въ своихъ тепленькихъ уголкахъ, и лишь безпріютныя, обиженныя, сбившіяся со всякаго пути, полуодѣтыя въ жалкія рубища существа крадутся среди грязи, слякоти, холода и мрака, осыпаемыя мокрымъ снѣгомъ, пронизываемыя вѣтромъ и погруженныя въ какія нибудь полубезумныя грезы».

Къ довершенію всего, т. е. своей особенности, Достоевскій былъ несомнѣннымъ психопатомъ, не помѣшаннымъ, говорю я, а психопатомъ, что не то же самое. Въ дѣтствѣ онъ страдалъ галлюцинаціями, потомъ падучей. Но и кромѣ этого, у него были ярко выраженные признаки мнительности и истеричности характера. Что такое мнительность, знаетъ всякій; это мучительное недовѣріе къ себѣ, своимъ силамъ, жизни, это подозрительность въ отношеніи ко всякому, опять таки начиная съ себя, это боязнь, испуганность передъ жизнью вообще. Что же такое «истеричность», съ которой намъ придется встрѣтиться не разъ на протяженіи біографіи, объ этомъ лучше всего скажетъ намъ самъ Достоевскій—величайшій изъ психопатологовъ. Отсылая за подробностями къ «Братьямъ Карамазовымъ», я беру характеристику истерической натуры въ изложеніи д-ра Чижа: это «неустойчивое равновѣсіе психическихъ отправленій, чрезмѣрно легкая возбудимость, необыкновенно сильная реакція психическаго механизма и быстрая смѣна его возбужденій. Въ характерѣ такого рода больныхъ бросается въ глаза пестрая смѣсь построеній и аффектовъ, симпатій и антипатій, представленій то веселыхъ, то грозныхъ, то серьезныхъ, то низменныхъ, то съ философскимъ пошибомъ, стремленій полныхъ энергіи, но скоро и пропадающихъ... У этихъ же больныхъ есть и другая замѣчательная черта—самолюбіе! Они самые наивные эгоисты, говорятъ только о себѣ и постоянно, съ самымъ живымъ интересомъ, стараются обратить на себя общее вниманіе, возбудить участіе, заинтересовать всѣхъ своею личностью, своею болѣзнью, даже пороками». Въ этомъ портретѣ трудно не узнать Ѳед. Мих. Достоевскаго, его неуравновѣшенную, неровную натуру, полное отсутствіе внутренней дисциплины, капризность, быструю, безпричинную смѣну восторговъ и отчаянія, симпатій и антипатій, крайняго увлеченія и холоднаго равнодушія. Страшно за человѣка, которому приходится жизнь прожить съ такимъ характеромъ, а къ тому же если этотъ человѣкъ талантливъ, бѣденъ, наивенъ, какъ ребенокъ... Но все это выяснится намъ послѣ.

Пока-же два слова о міросозерцаніи.—Совершенно естественно, что особенности личной жизни, исключительный, болѣзненный темпераментъ придали ему очень рѣзкую индивидуальную окраску. Но было-бы кажется совершенно напрасной сизифовой работой представить это міросозерцаніе въ его цѣломъ: нѣтъ просто никакой возможности разобраться въ противорѣчивыхъ подробностяхъ, въ

взаимно исключающихъ парадоксахъ. На мысль Достоевскаго личное—даже минутное настроеніе оказывало могущественное вліяніе, и сегодняшнее бѣлое могло очень легко завтра показаться чернымъ. Если въ «Зап. изъ Мерт. Дома» онъ утверждаетъ, что характерная черта русскаго народа—стремленіе къ *справедливости*, то это нисколько не мѣшаетъ ему говорить въ «Дневникѣ»: «нашъ народъ любитъ страданіе». Если однажды Бѣлинскій представляется ему «благороднымъ», то черезъ нѣсколько времени благородный человѣкъ оказывается поганымъ явленіемъ русской жизни, и т. д. Ни въ жизни своей, ни въ мысли Достоевскій не зналъ дисциплины и противорѣчилъ себѣ не только въ подробностяхъ, но и въ основномъ. Попробуйте изложить его взгляды на страданіе: то онъ является передъ нами чистымъ гуманистомъ, то признаетъ необходимость страданія, какъ наказанія за грѣхъ, то просто преклоняется передъ нимъ, какъ передъ таковымъ. Неправда жизни, опять-таки, то губитъ людей, то воспитываетъ въ нихъ внутреннюю силу. И т. д. Многія-же изрѣченія Достоевскаго прямо зависятъ отъ минутной злобы, внезапно нахлынувшаго раздраженія, отъ личныхъ симпатій и антипатій. Несомнѣнно, что, вращайся онъ въ другомъ обществѣ, онъ зачастую бы говорилъ другое и не дѣлалъ бы такихъ ужасныхъ скачковъ отъ христіанскаго смиренія къ самому забубенному шовинизму или чему-нибудь въ этомъ родѣ. Повторяю, мечта о томъ, чтобы представить міросозерцаніе Достоевскаго во всей его цѣлости и стройности, мечта совершенно неосуществимая. Недисциплинированная мысль великаго художника сама подъ часъ не знаетъ, куда она идетъ, и требуетъ напр. каторги дли сумасшедшаго! (Раскольниковъ) *). Но все-же общія идеи этого міросозерцанія ухватить можно. Въ послѣдней главѣ нашей книгѣ мы говоримъ о Достоевскомъ какъ о *народникѣ*, теперь же попытаемся охарактеризовать это общее господствующее настроеніе.

Понятно, что Достоевскій, какъ страстный и нетерпѣливый характеръ, зачастую чувствовалъ какую то истеричную и вмѣстѣ съ тѣмъ непримиримую злобу и къ жизни, и къ людямъ. Въ эти мрачныя минуты его душевныя раны открывались; дикой и мучительной, полной ненужной, но неукротимой жестокости представлялась ему жизнь. Съ страстнымъ любопытствомъ художника погружался онъ тогда въ человѣческую душу и находилъ въ ней

*) См. гл. V.

столько грязи и мерзости, что требовались костры ада, чтобы очистить ее. Подъ вліяніемъ такого настроенія человѣческій характеръ представлялся ему исполненнымъ злобы и мучительныхъ инстинктовъ. Онъ говорилъ: «человѣкъ-деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ». Онъ посягалъ на самую любовь, онъ и ей придавалъ характеръ инквизиціонной пытки: «я до того дошелъ, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается въ добровольно дарованномъ отъ любимаго предмета правѣ надъ нимъ тиранствовать». Подъ такимъ-же мрачнымъ освѣщеніемъ представлялась ему и дружба: «странная вещь эта дружба!— восклицаетъ онъ... Положительно могу сказать, что я на девять десятыхъ сталъ друженъ съ нимъ изъ за злобы!» Подобные взгляды Достоевскаго обобщены подъ общимъ эпитетомъ—жестокости таланта. Жестокость-ли это таланта, или результатъ вынесенной муки — не знаю, но прямо становлюсь на сторону послѣдняго мнѣнія. Въ отрицаніи любви и дружбы, въ этомъ представленіи жизни какъ ненужно жестокой, въ этомъ инквизиторски-мучительскомъ выискиваніи зла въ своей собственной душѣ, въ этомъ взглядѣ на дѣятельность человѣка прежде всего какъ на покаяніе— я вижу отраженіе тяжелой многострадальной жизни, выпавшей на долю великаго писателя. Постоянно доходилъ онъ до отчаянія; обстановка, характеръ такъ давили и терзали его, что онъ ощущалъ въ душѣ холодный ужасъ и неподавимый страхъ передъ жизнью. Нѣжный и любящій, онъ становился способнымъ различать вокругъ себя одну злобу; страстно привязанный къ жизни— онъ нетерпѣливо отталкивалъ ее отъ себя и уходилъ въ «подполье», чтобы оттуда проклинать бытіе. Холодный ужасъ и холодное отчаяніе то и дѣло овладѣвали имъ. Онъ хотѣлъ жить, какъ человѣкъ радостный, сильный, здоровый, съ любовью въ сердцѣ,—но такая жизнь не давалась ему, и онъ оттолкнулъ отъ себя наслажденіе, онъ проклялъ счастье.

И кромѣ того, по самому существу своей натуры, личнаго опыта, темперамента, Достоевскій отрицалъ всякій эпикуреизмъ въ жизни и даже съ ненавистью изгонялъ его оттуда. Точка зрѣнія эпикурейцевъ, исканіе наслажденія, мысль, что наслажденіе—господствующій мотивъ въ дѣятельности человѣка были просто противны ему. Въ юности онъ увлекается аскетическими идеалами, потомъ казнитъ интеллигенцію за то, что та стремится къ личному счастью или старается устроить чужую жизнь по идеалу всеобщаго земного счастья. Онъ рѣшительно отказывается признать наслажденіе за главный господ-

ствующій мотивъ дѣятельности и, увлекаясь полемикой съ этимъ принципомъ, уже изъ духа противорѣчія утверждаетъ, что человѣкъ ищетъ страданія, *любитъ* его, что оно нужно ему такъ-же, какъ и наслажденіе. Въ трезвыя-же минуты онъ видитъ въ людяхъ просто способность *къ самопожертвованію*, самую высокую и цѣнную съ его точки зрѣнія, способность отрекаться отъ своего «я» во имя абсолютнаго нравственнаго начала.

Отрицая эпикуреизмъ, вмѣстѣ съ нимъ Бентама, Милля, утилитаріанцевъ вообще, Достоевскій въ своихъ взглядахъ на личность твердо держится догмы христіанскаго ученія. Личность для него—свободна, т. е. одарена свободной волей. Какъ таковая, она отвѣтственна. Мало того у ней есть сознаніе этой свободы, что и проявляется въ раскаяніи, въ желаніи пострадать послѣ совершеннаго грѣха. Даже не личный свой грѣхъ, а грѣхъ вообще—личность способна принять на себя и радоваться страданію, какъ началу освобождающему отъ него. Личность — свободна, а слѣдовательно—отвѣтственна. Это камень краеугольный всего міросозерцанія Достоевскаго. Въ этомъ, и только, кажется, въ этомъ пунктѣ онъ никогда себѣ не противорѣчилъ. Отсюда всѣ выводы его ученія. Даже выводя на сцену психопатовъ и сумасшедшихъ, Достоевскій все-таки не поступался своимъ излюбленнымъ принципомъ и къ нимъ относился такъ же строго, какъ и къ обыкновеннымъ людямъ, требовалъ ихъ отвѣтственности и наказанія, и только въ «Дневникѣ» однажды перемѣнилъ гнѣвъ на милость (дѣло Корниловой).

Содержаніе, цѣнность этой свободной личности не зависитъ отъ внѣшнихъ, матеріальныхъ условій, среди которыхъ она находится. Съ точки зрѣнія свободы воли это логично. Достоевскій, потому любилъ повторять: «не о единомъ хлѣбѣ бываетъ живъ человѣкъ» и всякая экономическая или матеріалистическая точка зрѣнія на жизнь, утверждающая, что человѣкъ есть точная копія внѣшнихъ условій, положительно претила ему. Какія кажется внѣшнія условія въ жизни русскаго народа, особенно крѣпостного мужика, однако и въ немъ сохранилась внутренняя правда, которая и свѣтитъ изъ-подъ сѣраго армяка и насѣвшей грязи. Не о единомъ хлѣбѣ живъ бываетъ человѣкъ, и суть жизни совсѣмъ не въ экономическихъ или политическихъ условіяхъ, а въ началахъ нравственныхъ, религіозныхъ. Большинство интеллигенціи утеряло ихъ. Но ихъ не утеряла Россія, русскій народъ, сохранившій внут-

реннюю правду и православно-христіанскіе идеалы. Поэтому намъ, а не Европѣ, принадлежитъ будущее. Основаніемъ нравственнаго начала жизни является *любовь* и смиреніе. Безъ любви нѣтъ дѣятельности, безъ смиренія—дѣятельность есть служеніе своему «я», эгоистическое исканіе личнаго счастья, чего Достоевскій не допускалъ. Смиренно служить другому—таковъ идеалъ нашего писателя, но онъ не только не давалъ, но и прямо отрицалъ право вмѣшиваться въ чужую жизнь, право заботиться о чужомъ счастьѣ и устраивать его по собственной программѣ. Личность, т. е. каждый въ отдѣльности, прежде всего должна проникнуться мыслью, что въ сущности она очень слаба и очень ничтожна, и что главныя то усилія ея должны направиться на свое собственное самоусовершенствованіе. Человѣкъ, самъ человѣкъ, прежде всего долженъ быть хорошъ, а потомъ—видно будетъ. «Смирись, гордый человѣкъ, потрудись, праздный человѣкъ» училъ Достоевскій въ своей знаменитой пушкинской рѣчи. Другихъ оставь въ покоѣ и не думай, что ты можешь сдѣлать что нибудь съ жизнью, тѣмъ болѣе съ народной жизнью.

Подводя итоги сказанному, мы видимъ, что Достоевскій, отрицая совершенно эпикуреизмъ, матеріализмъ, соціализмъ и пр., видѣлъ въ жизни прежде всего проблему нравственную и религіозную. Въ разрѣшеніи ея, т. е. въ отысканіи вѣры въ Бога и личномъ самоусовершенствованіи и заключается задача человѣка здѣсь на землѣ. Самый взглядъ на жизнь у Достоевскаго отличается строгостью и своего рода мрачностью. Жизнь—задача громадная; житейская борьба сурова, и нечего плакать, если послѣ нея и руки, и ноги въ крови будутъ. Не для радости живетъ человѣкъ, а для осуществленія нравственнаго идеала, въ жертву которому онъ долженъ принести свое личное «я». Не любовь, не розы, не наслажденіе—а работа, страданіе, борьба—вотъ принципы Достоевскаго. Все равно какъ въ своихъ произведеніяхъ онъ никогда не описываетъ ни идиллическихъ картинъ, ни поцѣлуевъ интересныхъ паръ, все равно какъ тамъ онъ постоянно указываетъ на зло, сидящее внутри человѣка, на присущую каждому карамазовщину, такъ и въ его міросозерцаніи въ общемъ господствуетъ мрачный взглядъ на жизнь. Жизнь—это жертва, самоотреченіе, долгъ, неисчерпаемая грѣховность. Истинная жизнь—это борьба съ внутреннимъ, нравственнымъ зломъ, которое пребываетъ *въ каждомъ* изъ насъ. Страданіе во всякомъ случаѣ полезнѣе для этой борьбы, чѣмъ насла-

жденіе, и стремясь къ послѣднему, мы совершенно забываемъ о высшей задачи и роли, предназначенной человѣку на землѣ.

Какъ видитъ читатель, міросозерцаніе это чисто религіозное. Думая постоянно о высшемъ началѣ, руководящемъ жизнью, Достоевскій совершенно логично подчинялъ ему человѣка и человѣческое счастье. Мало того, какъ натура глубоко религіозная, онъ и вообще то былъ прежде всего склоненъ къ подчиненію, къ тому, чтобы обратить всю дѣятельность человѣка внутрь, на самого себя, а не на борьбу съ внѣшними обстоятельствами. Тутъ не консерватизмъ, не реакціонерство, не индиферентизмъ даже, такъ какъ Достоевскій не былъ ни тѣмъ, ни другимъ, ни третьимъ, а какая-то потребность подчиниться чему и кому-нибудь, потребность вообще присущая религіознымъ натурамъ. Человѣкъ не все, тѣмъ менѣе— отдѣльный человѣкъ. Есть нѣчто высшее, и вотъ въ проповѣди этого высшаго начала, въ постоянномъ исканіи его и прошла вся жизнь, вся дѣятельность Достоевскаго. Надо склониться предъ чѣмъ нибудь, чтобы не остаться при руководствѣ своего личнаго «я»: оно ведетъ къ гибели, къ озвѣренію. Побѣда надъ этимъ «я» и есть дѣло истинно человѣческое.

II.

Дѣтство. — Городъ и деревня. — Деревенскія впечатлѣнія. — Мужикъ Марей. — Великое и святое. — Угрюмый отецъ. — Семейная жизнь.— Буквари, начатки, грамматики. — Жоржъ-Зандъ.

Ѳ. М. Достоевскій родился въ 1821 г. 21-го октября, въ Москвѣ, въ правомъ флигелѣ маріинской больницы. Его отецъ, штабъ-лекарь, Михаилъ Андреевичъ, былъ изъ разночинцевъ, получалъ скромное жалованье и всю жизнь свою прожилъ очень скромно, скопивъ кое-что для своего многочисленнаго семейства, очень впрочемъ немногое. Мать Достоевскаго—религіозная, хозяйственная женщина, все равно какъ и мужъ ея, не выдавалась, повидимому, ничѣмъ особеннымъ. Самъ Ѳед. Мих. былъ вторымъ сыномъ; старшій братъ, Михаилъ, родился на два года раньше его, послѣ же были еще братья и сестры. Вся семья гнѣздилась въ крохотной казенной квартирѣ изъ двухъ или трехъ комнатъ, жила тихо, замкнуто, прикапливая на черный день, не зная никакихъ особенныхъ развлеченій, даже театра. Они жили дружно и спокойно, а впослѣдствіи, когда удалось пріобрѣсти маленькое имѣньице въ Тульской губерніи, то и съ большимъ разнообразіемъ: на лѣто перебирались туда, что, конечно, вносило не мало оживленія, благодаря переѣзду на долгихъ, новымъ уже деревенскимъ впечатлѣніямъ, свободѣ въ своемъ собственномъ помѣстьѣ и т. д. «Въ городѣ жизнь велась въ очень опредѣленныхъ, однообразныхъ и узкихъ рамкахъ; вставали рано утромъ, часовъ въ 6. Въ восьмомъ часу отецъ уходилъ въ палату, въ 9—уѣзжалъ на практику. Въ его отсутствіе дѣти занимались уроками; въ 12—обѣдали. Въ 4 часа пили вечерній чай, а вечера проводили въ гостиной и обыкновенно читали вслухъ — «Исторію» Карамзина, стихотворенія Жуковскаго, изрѣдка Пушкина. Въ праздничные дни всѣ вмѣстѣ играли въ карты, въ короли, причемъ маленькій Ѳедя

всегда уловчался плутовать, по юркости своего характера. Въ 9 часовъ, послѣ молитвы и ужина, дѣти уходили спать». И это изодня въ день. По праздникамъ жизнь нѣсколько измѣнялась. Дѣти отправлялись къ обѣднѣ, наканунѣ—ко всенощной, изрѣдка разрѣшались кое-какія развлеченія, вродѣ театра или балагановъ, но вообще предпочитали побольше держать ихъ дома. Лѣто, какъ было сказано выше, проводилось обыкновенно въ деревнѣ, причемъ самая поѣздка туда тянулась двое или трое сутокъ. «Во время поѣздокъ этихъ братъ Ѳедоръ бывалъ въ какомъ-то лихорадочномъ настроеніи. Онъ всегда садился на облучкѣ. Не бывало ни одной остановки, хотя на минуту, при которой братъ не соскочилъ-бы съ брички, не обѣгалъ-бы близъ-лежащей мѣстности или не повертѣлся-бы вмѣстѣ съ кучеромъ возлѣ лошадей!»

Въ городѣ дѣтей держали строго, особенно отецъ, который терпѣть не могъ ихъ шалостей, любилъ, чтобы они постоянно занимались дѣломъ, и мечталъ, повидимому, о томъ, чтобы пустить ихъ по ученой части. Къ этой строгости примѣшивался своего рода педантизмъ, особенное твердое убѣжденіе, что жизнь—это такая серьезная и трудная вещь, что подступать къ ней надо во всеоружіи и уже съ дѣтства готовиться ко всякимъ лишеніямъ, непріятностямъ, ясно выработавъ себѣ идею долга и обязанности. Поэтому дѣтей не только не распускали или баловали, а наоборотъ—сразу же старались ввести ихъ въ колею такой скромной и строгой жизни, гдѣ исполненіе обязанностей, отсутствіе прихотей стоитъ на первомъ планѣ. Дѣти конечно шалили, любили, напр., разговаривать съ больными черезъ рѣшетку, что запрещалось, но эти шалости отъ отца скрывались. Тотъ, стѣсняя себя во всемъ, чтобы дать дѣтямъ хорошее, даже прекрасное образованіе, требовалъ и отъ нихъ очень строгаго отношенія къ себѣ. Баловства онъ не допускалъ совершенно. Быть можетъ, слишкомъ уже ясно сознавалъ, что его дѣти — бѣдные разночинцы, которымъ ни легкой, ни блестящей карьеры предстоять не можетъ, которымъ все, каждый шагъ придется брать въ жизни грудью, и хотѣлъ пріучить ихъ къ этому чуть не съ пеленокъ. Отсюда это сухое однообразіе жизни, этотъ излишній педантизмъ слишкомъ строгаго, слишкомъ ужь, такъ сказать, цѣлесообразнаго воспитанія.

Но въ деревнѣ, гдѣ семья проводила время обыкновенно одна, безъ отца, дѣти пользовались большей свободой. «Въ деревнѣ—разказываетъ Анд. Мих.—они постоянно почти были на воздухѣ

и, исключая игръ, проводили цѣлые дни на поляхъ, присутствуя и приглядываясь къ труднымъ полевымъ работамъ. Всѣ крестьяне любили насъ очень, въ особенности брата Ѳедора. Онъ, по своему живому характеру, брался за все: то попроситъ водить лошадей съ бороной, то погоняетъ лошадь, идущую въ сохѣ. Любилъ онъ также вступать въ разговоры съ крестьянами, которые охотно съ нимъ говорили, но верхомъ его удовольствія было исполнить какое либо порученіе и быть чѣмъ нибудь полезнымъ. Я помню, что одна крестьянка, вышедшая на поле жать вмѣстѣ съ маленькимъ ребенкомъ, пролила нечаянно жбанчикъ воды и бѣднаго ребенка нечѣмъ было напоить,—братъ сейчасъ-же взялъ жбанчикъ, сбѣгалъ въ деревню и принесъ матери цѣлый жбанъ воды...» Здѣсь, въ деревнѣ, Ѳед. Мих. чувствовалъ себя какъ нельзя болѣе хорошо: не было ни длинныхъ строгихъ уроковъ, ни постоянной необходимости смотрѣть за собою. Съ братьями онъ игралъ въ индѣйцевъ, но предпочиталъ вертѣться возлѣ крестьянъ, ходить за грибами, «слушать природу.» «Это маленькое и незамѣчательное мѣсто, говорилъ онъ потомъ о своей деревнѣ, оставило во мнѣ самое глубокое и сильное впечатлѣніе на всю жизнь, гдѣ все полно для меня самыми дорогими воспоминаніями.»

Особенно впослѣдствіи, будучи уже на каторгѣ, Достоевскій любилъ возвращаться къ впечатлѣніямъ своего перваго дѣтства. къ этому «святому и драгоцѣнному, безъ чего не можетъ и жить человѣкъ.» Одно изъ этихъ воспоминаній онъ воплотилъ въ чудную художественную форму и было бы грѣшно не привести его здѣсь: «Былъ второй день Свѣтлаго праздника. Въ воздухѣ было тепло, небо голубое, солнце высокое, яркое, но на душѣ моей было очень мрачно. Другой уже день по острогу шелъ праздникъ, каторжныхъ на работу не выводили, пьяныхъ было множество... Безобразныя, гадкія пѣсни, майданы съ картежной игрой подъ нарами, нѣсколько уже избитыхъ до полусмерти каторжныхъ, нѣсколько разъ уже обнажавшіеся ножи—все это въ два дня праздника до болѣзни истерзало меня. Наконецъ въ сердцѣ моемъ загорѣлась злоба. Мнѣ встрѣтился полякъ М-цкій, изъ политическихъ; онъ строго посмотрѣлъ на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись: je hais ces brigands,—проскрежеталъ онъ мнѣ вполголоса и прошелъ мимо. Я воротился въ казарму и, несмотря на то, что четверть часа тому назадъ выбѣжалъ изъ нея какъ полоумный—пробрался на свое мѣсто противъ окна съ желѣзной

рѣшеткой и легъ навзничъ, закинувъ руки за голову и закрывъ глаза. Я любилъ такъ лежать; къ спящему не пристанутъ, а между тѣмъ можно лежать и думать. Мало по малу я и впрямь забылся и незамѣтно погрузился въ воспоминанія... на этотъ разъ мнѣ вдругъ припомнилось почему-то незамѣтное мгновеніе изъ моего перваго дѣтства, когда мнѣ было всего 9 лѣтъ отъ роду: я особенно любилъ тогда воспоминанія изъ самаго перваго моего дѣтства. Мнѣ припомнился августъ мѣсяцъ въ нашей деревнѣ; день сухой и ясный, но нѣсколько холодный и вѣтреный; лѣто на исходѣ и скоро надо ѣхать въ Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мнѣ такъ жалко покидать деревню. Я прошелъ на гумна и, спустившись въ оврагъ, поднялся въ Лоскъ,— такъ назывался у насъ густой кустарникъ по ту сторону оврага до самой рощи. И вотъ я забился гуще въ кусты и слышу, какъ недалеко, шагахъ въ тридцати, на полянѣ, одиноко пашетъ мужикъ. Вдругъ среди глубокой тишины я ясно и отчетливо услышалъ крикъ: «Волкъ бѣжитъ!» Я вскрикнулъ и внѣ себя отъ испуга, крича въ голосъ, выбѣжалъ на поляну, прямо на пашущаго мужика. Это былъ нашъ мужикъ Марей.—Мужикъ лѣтъ пятидесяти, плотный, довольно рослый, съ сильною просѣдью въ темнорусой, окладистой бородѣ. Я зналъ его, но до того никогда почти не случалось мнѣ заговорить съ нимъ. Онъ даже остановилъ кобыленку, заслышавъ крикъ мой, и когда я, разбѣжавшись, уцѣпился одной рукой за его соху, а другою за его рукавъ, то онъ разглядѣлъ мой испугъ.—Волкъ бѣжитъ!—прокричалъ я, задыхаясь. Я весь трясся, крѣпко уцѣпился за его зипунъ и, должно быть, былъ очень блѣденъ. Онъ смотрѣлъ на меня съ безпокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.— Ишь вѣдь испужался, ай-ай,—качалъ онъ головой.—Полно, родный. Ишь, малецъ, ай!

Онъ протянулъ руку и вдругъ погладилъ меня по щекѣ.— «Ну, полно же, ну, Христосъ съ тобой, окстись.» Но я не крестился; углы губъ моихъ вздрагивали, и кажется это особенно его поразило. Онъ протянулъ тихонько свой толстый, съ чернымъ ногтемъ, запачканный въ землѣ палецъ, тихонько дотронулся до вспрыгивающихъ губъ моихъ, улыбаясь мнѣ какою-то длинною, материнскою улыбкою...

И тутъ, въ Сибири, припомнилась мнѣ эта нѣжная, материнская улыбка бѣднаго крѣпостного мужика, его кресты, его пока-

чиванье головой: «Ишь, вѣдь, испужался, малецъ!» И особенно этотъ толстый его, запачканный въ землѣ палецъ, которымъ онъ тихо и съ робкою нѣжностью прикоснулся къ вздрагивавшимъ губамъ моимъ. И вотъ, когда я сошелъ съ наръ и оглядѣлся кругомъ, помню, я вдругъ почувствовалъ, что могу смотрѣть на этихъ несчастныхъ совсѣмъ другимъ взглядомъ, и что вдругъ, какимъ-то чудомъ, исчезла совсѣмъ всякая ненависть и злоба въ сердцѣ моемъ. Я пошелъ, вглядываясь въ встрѣчавшіяся лица.

Этотъ обритый и ошельмованый мужикъ, съ клеймами на лицѣ и хмѣльной, орущій свою пьяную, сиплую пѣсню, вѣдь это то-же, можетъ быть, тотъ же самый Марей: вѣдь я же не могу заглянуть въ его сердце.»

Я подробно, хотя и съ большими сокращеніями, передалъ «эпизодъ» съ мужикомъ Мареемъ, и потому прежде всего, что, по моему, это уже не просто эпизодъ, а одно изъ тѣхъ только съ перваго взгляда неважныхъ событій, которыя глубоко и невольно залегаютъ въ впечатлительную дѣтскую душу, долго лежатъ тамъ подъ грудой разныхъ другихъ мыслей и чувствъ, и потомъ вдругъ, накопивши за время своего долгаго молчанія невѣроятную силу и мощь, появляются на сцену и сразу надолго опредѣляютъ какъ убѣжденія, такъ и дѣятельность человѣка. Подъ сѣрымъ армякомъ, подъ закорузлой дикой грубостью русскаго крестьянина, подъ его «звѣрскимъ невѣжествомъ»—Достоевскій всегда искалъ и находилъ «глубину человѣческаго чувства», тонкую, почти материнскую нѣжность въ отношеніи ко всякому слабому, несчастному, страдающему. Эти то качества онъ, вмѣстѣ съ Константиномъ Аксаковымъ, называлъ «высокимъ образованіемъ народа нашего», эти-то качество и заставляли его вѣрить въ народную правду, вѣчно святую, никогда непреходящую, хотя и загрязненную, забитую. Конечно, не одни дѣтскія воспоминанія виноваты въ этомъ; но нельзя отрицать и того, что они играли, быть можетъ, первенствующую даже роль. Самъ Достоевскій по крайней мѣрѣ на сторонѣ послѣдняго мнѣнія: «безъ святого и драгоцѣннаго, унесеннаго въ жизнь изъ воспоминаній дѣтства—говоритъ онъ—не можетъ и жить человѣкъ. Иной, по идимому, о томъ и не думаетъ, и все-же эти воспоминанія безсознательно да сохраняетъ, и приэтомъ самыя сильнѣйшія и вліяющія воспоминанія почти всегда тѣ, которыя остаются изъ дѣтства.»

Но вотъ и еще эпизодъ, тоже изъ области общенія съ народомъ,

относящійся къ описываемой эпохѣ: «Мнѣ было всего еще 9 лѣтъ отъ роду,—разсказываетъ Достоевскій—какъ, помню, однажды, на третій день Свѣтлаго праздника, все наше семейство сидѣло за круглымъ столомъ, за чаемъ, и разговоръ шелъ какъ разъ о деревнѣ. Вдругъ отворилась дверь и на порогѣ показался нашъ дворовый человѣкъ, Григорій Васильевъ, сейчасъ только изъ деревни прибывшій. Въ отсутствіе господъ ему даже поручалось управленіе деревней, и вотъ вдругъ, вмѣсто управляющаго, всегда одѣтаго въ нѣмецкій сюртукъ и имѣвшаго солидный видъ, явился человѣкъ въ старомъ зипунишкѣ и лаптяхъ. Изъ деревни пришелъ пѣшкомъ, а войдя, всталъ въ комнатѣ, не говоря ни слова: «Что это?—крикнулъ отецъ въ испугѣ.—Посмотрите, что это»?—«Вотчина сгорѣла-съ»!—пробасилъ Григорій Васильевъ. Описывать не стану, что̀ за тѣмъ послѣдовало. Отецъ и мать были люди небогатые, трудящіеся—и вотъ такой подарокъ къ Свѣтлому дню! Съ перваго страху вообразили, что полное разореніе, бросились на колѣна и стали молиться; мать плакала. И вотъ вдругъ подходитъ къ ней наша няня, Алена Фроловна, служившая у насъ по найму, вольная то есть. Всѣхъ она насъ, дѣтей, взростила и выходила, была она тогда лѣтъ 45-ти, характера яснаго, веселаго и всегда намъ разсказывала такія славныя сказки! Жалованья она не брала у насъ уже много лѣтъ: «Не надо мнѣ», и накопилось ея жалованья рублей 500 и лежали они въ ломбардѣ,—и на старость пригодятся,—и вотъ она вдругъ шепчетъ мамѣ: «коли надо вамъ будетъ денегъ, возьмите и мои, а мнѣ что, мнѣ не надо...»

Быть можетъ, 9-ти лѣтній Достоевскій и не совсѣмъ ясно понималъ въ то время, что̀ это значитъ отдать 500 рублей, которые «пригодятся на старость», но впослѣдствіи, когда этотъ эпизодъ всплылъ на поверхность души, онъ послужилъ не малымъ аргументомъ въ пользу основной точки зрѣнія нашего великаго писателя. Достоевскій никогда не отрицалъ, что народъ грубъ, невѣжественъ, звѣрообразенъ; но онъ зналъ (и еще больше—вѣрилъ), что подо всѣмъ этимъ таится высокая душа, таится народная правда, краеугольный камень которой—сочувствіе страданію и самопожертвованіе. И эти дѣтскіе эпизоды, къ которымъ онъ постоянно возвращается, ни на минуту не выходятъ у него изъ головы, разъ ему приходится говорить или писать о народѣ. Это то и есть «великое и святое», безъ чего «не можетъ жить человѣкъ».

Но къ разсказу.—Учить дѣтей стали очень рано. Сама мать водила указкой по букварю и заставляла повторять за собою: «азъ.. буки.. вѣди..» Брали и учителей на домъ. Одинъ изъ нихъ, какой-то отецъ дьяконъ, разсказывалъ священную исторію особенно хорошо и производилъ на своихъ учениковъ сильное впечатлѣніе, хотя, какъ педагогъ стараго образца, и требовалъ, чтобы тѣ вызубривали урокъ наизусть по «Начаткамъ» митрополита Филарета. Самъ отецъ занимался со старшими—Михаиломъ и Ѳедоромъ—латынью, причемъ «братья, занимаясь по часу и болѣе, не смѣли не только сѣсть, но даже облокотиться на столъ. Стоятъ, бывало, какъ истуканчики, склоняя и спрягая поперемѣнно. Братья очень боялись этихъ уроковъ, происходившихъ всегда по вечерамъ. Отецъ, при всей своей добротѣ, былъ чрезвычайно взыскателенъ и нетерпѣливъ, а главное очень вспыльчивъ. При малѣйшемъ промахѣ со стороны братьевъ сейчасъ-же раздавался крикъ.» Потомъ дѣтей отдали въ пансіонъ къ какому-то Чермаку, педагогу, впрочемъ заботливому и не безъ любви обучавшему своихъ питомцевъ всей премудрости, требовавшейся школьной программой того времени. Кстати, можно замѣтить, что Ѳед. Мих. еще въ дѣтствѣ недурно изучилъ французскій языкъ и радовалъ своего отца—имянинника, читая ему въ дни ангела отрывки изъ «Генріады» наизусть.

Вообще, несмотря на скудость средствъ, заставлявшую всю семью тѣсниться въ двухъ-трехъ комнатахъ цѣлыми зимами, родители Достоевскаго не жалѣли денегъ, чтобы дать своимъ дѣтямъ по возможности хорошее воспитаніе. Было оно только немного страннымъ и строгимъ. До 16—17 лѣтъ дѣтей держали какъ маленькихъ, никуда не пускали ихъ однихъ, заставляли отправляться и возвращаться въ школу педантически аккуратно, никогда не давали ни копѣйки карманныхъ денегъ, словомъ, слишкомъ уже тянули на помочахъ. Мало того: дѣти исключительно росли въ собственной семьѣ, не имѣя товарищей и не зная, что дѣлается въ Божіемъ мірѣ, за больничными стѣнами. Оттого-то Ѳед. Мих. никогда и впослѣдствіи не могъ научиться жить съ людьми. Виноватъ въ этомъ отчасти и характеръ его, слишкомъ капризный, меланхолическій, такъ сказать «тяжкодумный», отчасти и непривычка. Что онъ постоянно былъ въ семьѣ—это, конечно, прекрасно, но зато послѣ ему пришлось дорого поплатиться за это. Наука общенія съ себѣ подобными не

всякому дается сразу: она требуетъ, какъ и все другое, опыта. Опыта-то Достоевскому и не доставало. Онъ и самъ жалѣлъ объ этомъ не разъ, но помочь горю не могъ. Очень требовательный къ себѣ и другимъ, обидчивый до крайности, раздражительный и самолюбивый, воспалявшійся въ одно мгновеніе, еще скорѣе остывавшій, онъ былъ мало пригоденъ для товарищества и дружбы. И напрасно впослѣдствіи приписывалъ онъ свой разрывъ съ кружкомъ Бѣлинскаго и «Современника» *только* различію въ убѣжденіяхъ: здѣсь дѣло проще: слишкомъ ласковое отношеніе къ себѣ, слишкомъ требовательное къ другимъ.

Обратимъ вниманіе еще на одну серію внушеній, шедшую уже прямо отъ отца. Тотъ, человѣкъ угрюмый, подозрительный, болѣзненно недовѣрчивый, словомъ по характеру своему одинъ изъ русскихъ неудачниковъ (вѣдь неудачникамъ судьба и снисходить можетъ, а они все-же такъ «неудачниками въ душѣ» и остаются), хотя, быть можетъ, и невольно, но постоянно пугалъ дѣтей. Представьте себѣ эти уроки латинской грамматики, во время которыхъ надо было каждую минуту дрожать и опасаться, чтобы вмѣсто «amant» не сказать «amamant», или чего нибудь въ этомъ родѣ,—эту необходимость—скрывать отъ отца каждую шалость, каждую ребяческую выходку! Отецъ не билъ—это правда, но это суровое, требовательное отношеніе къ дѣтству, эти раздраженныя вспышки, этотъ подозрительный, угрюмый взглядъ и полное, повидимому, отсутствіе добродушія дѣйствуютъ ничуть не хуже и не лучше розогъ. Недовѣрчивость, а тѣмъ болѣе постоянная, систематическая недовѣрчивость мучительно вліяетъ на дѣтей. Она уничтожаетъ простоту, искренность и сердечность въ семьѣ и, дѣйствительно, посмотрите, напр., какой впослѣдствіи пытки стоило Достоевскому написать письмо къ отцу, въ которомъ онъ проситъ выслать 40 руб. асс.! Больной подозрительностью сынъ пишетъ еще къ болѣе больному подозрительностью отцу и ежеминутно ожидаетъ, что его обвинятъ въ обманѣ, кутежахъ, расточительности, тогда какъ ему просто нужны эти несчастные 40 р. на самое необходимое! Но онъ не смѣетъ прямо сказать, что ему нужно: онъ клянется, божится, распинается, чтобы отецъ не счелъ его обманщикомъ, эксплоататоромъ и пр.! Тяжело читать такія психопатическія, вымученныя вещи, тяжело видѣть эту нервность въ 17-ти лѣтнемъ ребенкѣ, проявляющуюся въ отношеніи къ отцу. Но, значитъ, такъ оно было и раньше, хотя біографы, по ка-

кой-то стыдливости, объ этомъ умалчиваютъ. Не говоря уже о томъ, что отецъ передалъ своему сыну по наслѣдству болѣзненную недовѣрчивость къ себѣ, людямъ, жизни вообще—онъ своимъ обращеніемъ еще усилилъ и раздулъ ее. Онъ былъ строгъ и не столько въ смыслѣ справедливости, сколько неукоснительной требовательности. Своимъ обращеніемъ, своими разговорами онъ постоянно внушалъ дѣтямъ, что жизнь—это тяжелая, трудная вещь, гдѣ человѣка за ничтожную ошибку ждетъ гибель. Онъ совѣтовалъ, конечно, брать примѣръ съ себя, въ своей исполнительности, аккуратности и пр. Въ мѣру это хорошо, но для такого впечатлительнаго и такъ уже трусливо настроеннаго, къ тому-же больного *) ребенка, какъ Ѳед. Мих., подобныя внушенія ничего, кромѣ вреда, принести не могли. Уже съ дѣтства привыкъ онъ бояться жизни, уже въ дѣтствѣ проявилось въ немъ то недовѣрчивое, подозрительное отношеніе къ себѣ и другимъ, которое совершенно испортили его юность. Съ нимъ надо было обходиться поосторожнѣе, не пугать, а ласкать и беречь эту геніальную, но страшно неуравновѣшанную натуру, пріучать ее къ жизни, а не отпугивать отъ нея.

Но все-же дѣтство Достоевскаго—самая счастливая пора его жизни. Строгость отца умѣрялась ласками матери, однообразіе городской жизни красилось лѣтними деревенскими впечатлѣніями, неровный обидчивый характеръ мальчика не встрѣчалъ въ семьѣ суровыхъ и жесткихъ отпоровъ. Какъ ни вяла и однообразна была эта семейная жизнь, въ ней все-же было то тихое, спокойное и дружное, къ чему постоянно тянуло Достоевскаго. Легко представить себѣ эту большую, тѣсную семью, собравшуюся за вечернимъ чаемъ, эти споры дѣтей съ отцомъ о превосходствѣ Пушкина надъ Жуковскимъ, страстное цитированіе любимыхъ стихотвореній, мирное чтеніе Карамзина и успокоивающее впечатлѣніе торжественнаго стиля его «Исторіи». Сальныя свѣчи, горѣвшія на столѣ въ видахъ экономіи, каждый вечеръ освѣщали теперь уже изчезнувшія на вѣки лица. Тутъ и отецъ съ усталымъ и угрюмымъ выраженіемъ лица и добрая улыбающаяся мать, и самъ Ѳед. Мих., маленькій, нервный, юркій, съ блестящими и восторженными глазами. И еще многіе тутъ большіе и малые; даже старуха няня

*) Въ дѣтствѣ онъ страдалъ галлюцинаціями. Мы это видѣли уже въ разсказѣ о мужикѣ Мареѣ.

приплелась сюда-же и дремлетъ въ углу, ежеминутно спуская петли на своемъ чулкѣ и прислушиваясь къ одушевленному чтенію.

* * *

Изъ всей семьи ближе чѣмъ съ другими Ѳед. Мих. сошелся съ братомъ своимъ, Михаиломъ. Они были почти сверстники, вмѣстѣ играли, вмѣстѣ учились, потомъ — вмѣстѣ читали. Объ этихъ чтеніяхъ — своего рода приготовительномъ курсѣ литературной дѣятельности—намъ надо сказать нѣсколько словъ. Но сначала маленькое замѣчаніе. Есть такіе (напр. покойный Ор. Ѳ. Миллеръ), которые увѣряютъ, что Ѳ. М. Достоевскій былъ очень образованный человѣкъ. Что онъ былъ начитанъ—это несомнѣнно, но въ образованности его, понимая подъ этимъ хотя нѣкоторое знакомство съ наукой, право можно сомнѣваться. И это сомнѣніе основательно: прочтите всю его переписку, всѣ его сочиненія, и вы не увидите ни одной строчки, которая выражала бы хоть самый ничтожный интересъ къ вопросамъ науки. Сомнительно даже, чтобы онъ хорошо зналъ исторію русскаго общества и русскаго народа—обстоятельство, недурно объясняющее нѣкоторые изъ его знаменитыхъ парадоксовъ. Но читалъ онъ, особенно въ молодости, очень много, и надо прямо сказать, что болѣе безпорядочное чтеніе трудно себѣ и вообразить. Системы ни малѣйшей. Читается все, что попадается подъ руку, преимущественно романы и поэзія. Десяти лѣтъ Достоевскій увлекается «Разбойниками» Шиллера, потомъ идутъ Диккенсъ, Вальтеръ Скотъ, Зандъ, Шекспиръ, Гюго и пр.; изъ русскихъ: Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ и т. д. Что Достоевскій понималъ этихъ авторовъ, что они были для него безконечно полезны—это очевидно, но онъ никогда не изучалъ ихъ. Оттого-то до конца жизни остался онъ литературно начитаннымъ человѣкомъ, что быть можетъ, достаточно для великаго романиста, но маловато для публициста и редактора журналовъ. Даже психопатіей и психіатріей, какъ науками, Достоевскій не занимался никогда и если онъ все-же можетъ быть названъ величайшимъ изъ психопатологовъ, то виноватъ въ этомъ его геній, а никакъ не образованность.

Это безпорядочное, лишенное всякой исторической перспективы чтеніе развивало талантъ Достоевскаго, гуманизировало его, но вмѣстѣ съ тѣмъ давало и слишкомъ уже обильную пищу его фантазіи, которую могла бы дисциплинировать, хоть отчасти, наука. Но науки не было и безумная, неразсчетливая жизнь однимъ сердцемъ, однимъ воображеніемъ измучила Достоевскаго до конца и быстро

довела его до того душевнаго кризиса, съ которымъ мы познакомимся въ слѣдующей главѣ. Пока-же еще нѣсколько подробностей объ этомъ чтеніи.

Въ молодости Достоевскій читалъ горячо, страстно, съ увлеченіемъ, не дававшимъ спать ему цѣлыя ночи. Исторію Карамзина онъ зналъ почти наизусть, страстно любилъ Пушкина, предпочитая его Жуковскому; потомъ съ еще большей горячностью набросился на Жоржъ Зандъ, открывшую передъ нимъ новый міръ общественныхъ задачъ и отношеній. Въ этихъ увлеченіяхъ товарищемъ ему былъ братъ Михаилъ, и на этой общности умственныхъ интересовъ и выросла ихъ дружба. Особенно глубокое впечатлѣніе на Достоевскаго произвела Жоржъ Зандъ. Въ нижеслѣдующихъ строкахъ онъ самъ прекрасно говоритъ объ этомъ:

«Появленіе Жоржъ-Занда въ литературѣ совпадаетъ съ годами моей первой юности, и я очень радъ теперь (1876 г.), что это такъ уже давно было, потому что теперь, слишкомъ тридцать лѣтъ спустя, можно говорить почти вполнѣ откровенно. Надо замѣтить, что тогда только это и было позволено,—т. е. романы; остальное все, чуть не всякая мысль, особенно изъ Франціи, было строжайше запрещено. О, конечно, весьма часто смотрѣть не умѣли, да и откуда бы могли научиться: и Меттернихъ не умѣлъ смотрѣть, не то, что наши подражатели. А потому и проскакивали «ужасныя вещи», напримѣръ, проскочилъ весь Бѣлинскій... Но романы всетаки дозволялись, и сначала, и въ срединѣ, и даже въ самомъ концѣ, и вотъ тутъ-то, и именно на Жоржъ-Зандѣ, оберегатели дали тогда большого маха... Надо замѣтить и то, что у насъ, немотря ни на какихъ Магницкихъ и Липранди, еще съ прошлаго столѣтія всегда тотчасъ же становилось извѣстнымъ о всякомъ интеллектуальномъ движеніи въ Европѣ, и тотчасъ же изъ высшихъ слоевъ нашей интеллигенціи передавалось и массѣ, хотя чуть-чуть интересующихся и мыслящихъ людей. Точь въ точь то-же произошло и съ европейскимъ движеніемъ тридцатыхъ годовъ. Объ томъ огромномъ движеніи европейскихъ литературъ, съ самаго начала тридцатыхъ годовъ, у насъ весьма скоро получилось понятіе. Были уже извѣстны имена многихъ новыхъ явившихся ораторовъ, историковъ, трибуновъ, профессоровъ. Даже, хоть отчасти, хоть чуть-чуть извѣстно стало и то, куда клонитъ все это движеніе. И вотъ особенно страстно это движеніе проявилось въ искусствѣ—въ романѣ, а главнѣйшее—у Жоржъ-Занда. Правда, о

Жоржъ-Зандѣ Сенковскій и Булгаринъ предостерегали публику еще до появленія ея романовъ на русскомъ языкѣ. Особенно пугали русскихъ дамъ тѣмъ, что она ходитъ въ панталонахъ, хотѣли испугать развратомъ, сдѣлать ее смѣшной. Сенковскій, самъ ж собиравшійся переводить Жоржъ-Занда въ своемъ журнал «Библіотека для чтенія», началъ называть ее печатно г-жей Егоромъ Зандомъ, и, кажется, серьезно остался доволенъ своимъ остроуміемъ. Впослѣдствіи, въ 48 году, Булгаринъ печаталъ об ней въ «Сѣверной Пчелѣ», что она ежедневно пьянствуетъ с Пьеромъ Леру у заставы и участвуетъ въ Аѳинскихъ вечерахъ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, у разбойника министр внутреннихъ дѣлъ Ледрю-Роллена. Я это самъ читалъ и очен хорошо помню. Но тогда, въ 48 году, Жоржъ-Зандъ была у нас уже извѣстна почти всей читающей публикѣ и Булгарину никт не повѣрилъ... Мнѣ было, я думаю, лѣтъ шестнадцать, когда прочелъ въ первый разъ ея повѣсть «Ускокъ», — одно изъ пре лестнѣйшихъ первоначальныхъ ея произведеній; я помню, я был потомъ въ лихорадкѣ всю ночь... Жоржъ-Зандъ не мыслитель, н это одна изъ самыхъ ясновидящихъ предчувственницъ (если тольк позволено выразиться такою кудрявою фразою) болѣе счастливаг будущаго, ожидающаго человѣчество, въ достиженіи идеаловъ ко тораго она бодро и великодушно вѣрила всю жизнь, и именн потому, что сама, въ душѣ своей, способна была воздвигнуть иде алъ. Сохраненіе этой вѣры до конца обыкновенно составляет удѣлъ всѣхъ высокихъ душъ, всѣхъ истинныхъ человѣколюбцевъ.. Она основывала свои убѣжденія, надежды и идеалы на нрав ственномъ чувствѣ человѣка, на духовной жаждѣ человѣчества на стремленіи его къ совершенству и къ чистотѣ, а не на му равьиной необходимости. Она вѣрила въ личность человѣче скую безусловно (даже до безсмертія ея), возвышала и раз двигала представленіе о ней всю жизнь свою—въ каждомъ своем произведеніи, и тѣмъ и признавала ея свободу»... Жоржъ-Занд вѣрила въ будущее человѣчества, вѣрила въ грядущее счастье для многихъ, въ томъ числѣ и для Достоевскаго, ея романы был великолѣпной демократической школой.

III

мерть матери и переѣздъ въ Петербургъ.—Лучъ идеализма.—Дурныя
печатлѣнія.—Инженерное училище.—Одиночество.—Тяжелая юность.
—Бѣдные люди —Разрывъ съ Бѣлинскимъ.—Неудачи.—Болѣзнь.

Для большинства людей—юность самое счастливое время жизни:
ѣрится въ себя, свои силы, здоровье, будущность, и эта вѣра
аетъ яркую окраску каждому крохотному событію, которое чело-
ѣкъ, съ обычнымъ въ эти годы эгоизмомъ, толкуетъ въ свою поль-
у. Господствуетъ убѣжденіе,—вѣрнѣе, настроеніе, что всѣ на
ебя смотрятъ и радуются, желаютъ всякаго благополучія и что
обще «я»—какая-то совсѣмъ особенная величина въ жизни,
оторой предназначено совершить нѣчто особенное, и что къ моему
о «я» жизнь будетъ, не въ примѣръ прочимъ, добра и снисходи-
ельна. Все это наивно, самонадѣянно, свѣтло и радостно; все это
большинства. У Достоевскаго совершенно наоборотъ: его пере-
иска, его думы за юные годы—это переписка и думы изъ подполья.
осподствующее настроеніе—меланхолія, подозрительное отноше-
іе къ жизни, мучительное недовѣріе къ себѣ. Изрѣдка какіе-то
исто *террористическіе* взрывы юношеской самонадѣянности.
олѣзненное воображеніе, не знающее удержу, ни іоты выдержки
дисциплины, безумно-расточительная жизнь сердцемъ; совсѣмъ
обенное самолюбіе навыворотъ, которое ищетъ дѣятельности,
щетъ славы, но изъ-за робкой трусливости, приниженности пред-
очитаетъ сидѣть въ углу. Самолюбіе, какъ-бы обиженное и глу-
коооскорбленное, заставляетъ повсюду и въ каждомъ словѣ, дви-
еніи видѣть обманъ, неискренность; рядомъ съ этимъ—ничѣмъ
удовлетворяющаяся требовательность въ отношеніи къ другимъ.
се это завершается страшнымъ душевнымъ кризисомъ и исклю-
ительной катастрофой въ обстоятельствахъ жизни.—Переходимъ къ
актамъ.

Въ началѣ 1837 г. умерла мать Достоевскаго. Отецъ рѣшилс отправить сыновей въ Петербургъ, въ инженерное училище. «Был май мѣсяцъ, разсказываетъ Ѳед. Мих.,—мы ѣхали на долгихъ почт шагомъ и стояли на станціяхъ часа по два, по три. Помню, как надоѣло намъ наконецъ это путешествіе, продолжавшееся почт недѣлю. Мы съ братомъ стремились тогда въ новую жизнь, меч тали о чемъ-то ужасно, обо всемъ «прекрасномъ и высокомъ» Тогда это словечко было свѣтло и выговаривалось безъ ироніи. И сколько тогда было и ходило такихъ словечекъ! Мы вѣрили чему-т страстно и хотя мы оба знали прекрасно все, что требовалось к экзамену изъ математики, но мечтали мы только о поэзіи и о поэтахъ Братъ писалъ стихи, каждый день стихотворенія по три—даже до рогой, а я безпрерывно въ умѣ сочинялъ романъ изъ венеціанскої жизни».—Съ удовольствіемъ отмѣчаемъ этотъ дрожащій юным силами лучъ идеализма, которому было суждено такъ скоро, хот къ счастью на время только, затеряться подъ грудой другихъ обид ныхъ и грубыхъ впечатлѣній. Кстати, потому только, что къ слов пришлось, называютъ обыкновенно Достоевскаго консерваторомъ чуть-чуть не реакціонеромъ, но любопытно было бы знать, что общаго съ консерватизмомъ имѣетъ полный вѣры въ будущее иде ализмъ Достоевскаго?—Но это между прочимъ: возвращаемся к разсказу.

Поступить въ училище удалось только Ѳед. Мих., братъ его былъ забракованъ на докторскомъ осмотрѣ. Эта первая неудача тяжело подѣйствовала на Достоевскаго: ему не только приходилось разстаться съ любимымъ, единственнымъ въ жизни другомъ но и провести въ одиночествѣ цѣлые года. Съ товарищами онъ не сближался. Его любимымъ развлеченіемъ была прогулка, одинокіе мечты. «Онъ очень далеко держалъ себя,—разсказываетъ г. Савельевъ,—отъ начальства и старшихъ товарищей... Его можно было видѣть и въ бытность его въ старшемъ классѣ большею частью одного—или сидящимъ за своимъ столикомъ, занимающимся, или гуляющимъ по комнатамъ, всегда съ понуренною головою и сложенными назадъ руками! Нравы инженернаго училища, допускавшіе господство старшихъ товарищей надъ младшими, драку, кутежи—совсѣмъ ему не нравились.*) Онъ и на другихъ производилъ

*) Вотъ одинъ характерный эпизодъ: «натянутое положеніе между воспитанниками 1-го и 2-го кл. разыгралось наконецъ общей дракой въ камерахъ. Молодежь схватилась въ рукопашную. Вспомнили про

впечатлѣніе мистика, идеалиста и предпочиталъ держаться въ сторонкѣ, будучи или только воображая себя—у Достоевскаго это не всегда разобрать можно—несчастнымъ. Науками онъ занимался съ усердіемъ, но безъ любви, фронтомъ—съ отвращеніемъ. Выправка и муштровка, военные нравы стараго времени, грубые, но откровенные, ни на минуту не привлекали его. Болѣзненное самолюбіе, нѣжность душевная, физическая слабость держали его въ одиночествѣ. Если вполнѣ вѣрить его письмамъ за это время, то настроеніе его дѣйствительно было ужасно. Постоянный недостатокъ въ деньгахъ давалъ себя чувствовать очень замѣтно; прибавьте къ этому нелюбимое дѣло, товарищей, съ которыми не было ни одного пункта соприкосновенія.

«Не знаю,—спрашиваетъ онъ въ письмѣ къ брату,—стихнутъ ли когда мои грустныя идеи?» Или: «У меня есть проектъ: сдѣлаться сумасшедшимъ... Братъ, грустно жить безъ надежды. Смотрю впередъ и будущее меня ужасаетъ... Я ношусь въ какой-то холодной, полярной атмосферѣ, куда не заползалъ лучъ солнечный; я давно не испытывалъ взрывовъ вдохновенія... за то часто бываю въ такомъ настроеніи, какъ шильонскій узникъ послѣ смерти братьевъ въ темницѣ. Не залетитъ ко мнѣ райская птичка поэзіи, не согрѣетъ охладѣлой души! Ты говоришь, что я скрытенъ; но вотъ уже и прежнія мечты меня оставили, мои чудныя арабески, которыя создавалъ я нѣкогда, сбросили позолоту свою. Тѣ мысли, которыя лучами своими зажигали душу и сердце, нынче лишились пламени и теплоты. Сердце мое очерствѣло... Дальше ужасаюсь говорить... Мнѣ страшно сказать, ежели все прошлое было одинъ золотой сонъ, кудрявыя грезы».

Тутъ много риторики, много *самосочиненія* (самъ Достоевскій это «самосочиненіе» считаетъ удѣломъ каждаго), но допустимъ $^1/_{10}$ долю истины и то страшно за бѣднаго юношу 17 лѣтъ. Одиночество, безденежье, обидчивость — реальная почва такого настроенія. Рядомъ съ этимъ, съ полной уже силой проявляется

ружья и бросились за ними. Къ счастію, въ это время явился командиръ роты Скалонъ и вскрикнулъ: «Да вы меня погубить хотите! Не хочу быть вашимъ командиромъ! Въ отставку выйду!» Молодежь сразу пріостановилась. Съ крикомъ «ура!» подняли Скалона на плечи и понесли по камерамъ. Придя къ себѣ, Скалонъ разсадилъ всѣхъ кругомъ. По командѣ «цѣлуй направо», старшій классъ поцѣловалъ младшій, по командѣ «цѣлуй налѣво», младшіе возвратили поцѣлуй старшимъ.

по наслѣдству полученный меланхолическій темпераментъ. Болѣзненное недовѣріе къ себѣ и другимъ дѣлаетъ мучительной жизнь среди людей. Сколько внутренней муки, сколько жалобы въ упомянутомъ уже письмѣ къ отцу, съ просьбою выслать 40 рублей. Вотъ оно:

«Милый, добрый Родитель мой! Неужели Вы можете думать, что сынъ Вашъ, прося отъ Васъ денежной помощи, проситъ у Васъ лишняго. —Богъ свидѣтель, ежели я хочу сдѣлать Вамъ хоть какое бы то ни было лишенье, не только изъ моихъ выгодъ, но даже изъ необходимости.—Какъ горько то одолженье, которымъ тяготятся мои кровные. У меня есть голова, есть руки. Будь я на волѣ, на свободѣ, отданъ самому себѣ, я бы не требовалъ отъ Васъ копѣйки: я обжился бы съ желѣзной нуждою. Стыдно было бы тогда мнѣ и заикнуться о помощи.—Теперь я Вамъ высказываю себя одними обѣщаньями въ будущемъ; но это будущее недалеко и Вы со временемъ увидите.—

Теперь же, любезный Папенька, вспомните, что я *служу* въ полномъ смыслѣ слова.—Волей или неволей, а я долженъ сообразоваться вполнѣ съ уставами моего теперешняго общества.—Къ чему же дѣлать исключенье собою?—Подобныя исключенія подвергаютъ иногда ужаснымъ непріятностямъ. Вы сами это понимаете, любезный Папенька. Вы жили съ людьми.—Теперь: лагерная жизнь каждаго воспитанника военно-учебныхъ заведеній требуетъ по крайней мѣрѣ 40 р. денегъ. (Я вамъ пишу все это потому, что я говорю съ отцомъ моимъ).—Въ эту сумму я не включаю такихъ потребностей, какъ напримѣръ: имѣть чай, сахаръ и проч. Это и безъ того необходимо, и необходимо не изъ одного приличія, а изъ нужды. Когда вы мокнете въ сырую погоду подъ дождемъ въ полотняной палаткѣ, или въ такую погоду, прійдя съ ученья усталый, озябшій, безъ чаю, можно заболѣть, что со мною случилось прошлаго года на походѣ.—Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю. Требую только необходимаго на 2 пары простыхъ сапоговъ 16 р.—Теперь мои вещи: книги, сапоги, перья, бумага и т. д. и т. д. должны же лежать гдѣ нибудь. Для этого я долженъ имѣть сундукъ, ибо въ лагеряхъ нѣтъ никакихъ строеній, кромѣ палатокъ. Койки наши—это куча соломы, покрытая простынею. Спрашивается, не имѣя сундука, куда я положу все это.—Нужно знать, что казна не заботится, нужно-ли мнѣ мѣсто или нѣтъ; не заботится, имѣю-ли я сундукъ. Ибо экза-

мены кончатся; слѣд. книги не нужны; казна одѣваетъ меня, слѣд. сапоги не нужны и т. д.. Но безъ книгъ какъ я проведу время? 3-хъ паръ казенныхъ сапогъ не станетъ и въ городѣ на полгода!— Слѣд. мнѣ нѣтъ казеннаго мѣста поставить сундука, который необходимъ для меня. Въ палаткѣ общей я стѣсню товарища, слѣд. сдѣлаю непріятность другимъ, да и мнѣ просто не позволятъ держать сундукъ въ палаткѣ, ибо никто въ палаткѣ не держитъ; слѣд. для моей поклажи я долженъ буду имѣть мѣсто. Мѣсто я найду уговорившись, (какъ всѣ дѣлаютъ) съ какимъ нибудь изъ солдатъ-служителей нашихъ поставить сундукъ мой. За это надобно заплатить. Слѣд. за покупку сундука по крайней мѣрѣ рублевый.

За провозъ туда и сюда . 5 цѣлковыхъ.
За мѣсто . . . . . 2 »
За чистку мнѣ сапоговъ . 5 »

Это условная такса съ служителемъ.

На этой реальной почвѣ безденежья и одиночества и выросло юношески страстное, нетерпѣливое міросозерцаніе.

Жизнь, говоритъ Достоевскій, отвратительна. Хорошо лишь то, что далеко отъ нея, отъ ея земного счастья, что *духовно*. Одно только состояніе и дано въ удѣлъ человѣку,—атмосфера души его состоитъ изъ сліянія неба съ землею; какое-же противозаконное дитя природы человѣкъ: (въ немъ) законъ природы нарушенъ... Мнѣ кажется, что міръ нашъ чистилище духовъ небесныхъ, отуманенныхъ грѣшною мыслью. Мнѣ кажется, міръ принялъ значеніе отрицательное, и изъ высокой, изящной духовности вышла сатира... Видѣть одну жестокую оболочку, подъ которой томится вселенная, *знать, что одного взрыва воли достаточно, чтобы разбить ее и слиться съ вѣчностью*... Ужасно!.. Какъ малодушенъ человѣкъ! Гамлетъ! Гамлетъ!..»

Это уже мысли о самоубійствѣ. Обыденная жизнь—плотская грѣховность. Надо отрѣшиться отъ нея, чтобы возстановить высокую, изящную духовность. Отуманивающія грѣшныя мысли отъ плоти, отъ стремленія къ земному счастью. Аскетизмъ, страданія очищаютъ душу. Достоевскій увлекается своимъ товарищемъ Шидловскимъ. Почему? «Взглянуть на него—это мученикъ! Онъ изсохъ. Щеки впали, большіе глаза его сухи и пламенны. Духовная красота его лица возвысилась съ упадкомъ физической; онъ страдалъ! тяжко страдалъ! Боже мой, какъ любилъ онъ какую-то дѣвушку.

Она же вышла за кого-то замужъ. *Безъ этой любви онъ не бы*
бы чистымъ, возвышеннымъ, безкорыстнымъ жрецомъ поэзіи!
Это не философія, но ясный зародышъ будущихъ полумистич
скихъ, полуфантастическихъ порадоксовъ.

* * *

Въ 1839 году скончался отецъ Достоевскаго; въ 1843 г. Ѳед. Ми
окончивъ полный курсъ наукъ, былъ выпущенъ на дѣйствител
ную службу. «По выходѣ изъ училища, началась холостая, цыга
ская и полная лишеній жизнь Ѳед. Мих. Нельзя сказать, чтоб
онъ не былъ обезпеченъ. Вмѣстѣ съ казеннымъ жалованьемъ
высылками опекуна, онъ получалъ до 5 тыс. руб. асс. въ годъ
Но онъ былъ крайне непрактиченъ. деньги уходили у него скво
пальцы съ неимовѣрной быстротой». Для чего-то онъ держал
квартиру, за которую платилъ 100 р. ас. въ мѣсяцъ. Отказыва
себѣ въ чемъ бы то ни было онъ не желалъ. Просто на прос
онъ транжирилъ деньги; всѣ его расходы были расходами капри
наго, прихотливаго человѣка. Къ тому-же онъ любилъ играть
билліардѣ (впослѣдствіи въ рулетку) и конечно проигрывал
Постоянное безденежье мучило его самого, но справиться
собой онъ не могъ и не умѣлъ. Расходы тщеславія занима
въ его бюджетѣ первое мѣсто; онъ и самъ понималъ, ч
это не умно, но продолжалъ такъ дѣлать. Иногда точ
ребенка его радовало, что онъ можетъ «бросать» деньги.
этомъ онъ какъ будто видѣлъ проявленіе или доказательст
своей силы. Когда въ 1844 г. онъ оставилъ службу, потому ч
та не въ мѣру ему надоѣла, то безденежье стало хроническимъ

Достоевскій транжирилъ деньги, всю свою жизнь транжири
ихъ и никогда, развѣ въ самое послѣднее время, и то благода
женѣ, не научился сводить концы съ концами. Кажется, умн
былъ человѣкъ и прекрасно понималъ, что эти вѣчные аванс
долги—закабаляютъ его, подвергаютъ массѣ униженій, дѣлаютъ
рабомъ литературнаго рынка, а все-же жилъ такъ, какъ буд
сроку жизни только одинъ день. Мотовство конечно недостато
съ точки зрѣнія пуризма и добродѣтели, но съ другой, научн
точки зрѣнія, это уже болѣзнь. Что такое мотъ? Прежде все
человѣкъ со слабой волей, съ неодолимымъ влеченіемъ къ поку
камъ, съ такими прихотями и капризами, которые сразу вспы
ваютъ въ душѣ, сразу заполоняютъ всю область сознанія и тр
буютъ, чтобы ихъ немедленно удовлетворяли. Тутъ и тщеславіе.

сластолюбіе; но суть не въ нихъ: суть именно въ этой неодолимости мгновенныхъ прихотей, въ этомъ полномъ отсутствіи дисциплины воли, которая страдаетъ отъ самой краткой отсрочки. «Съ этими влеченіями къ покупкамъ я не могъ бороться, разсказываетъ одинъ психопатъ,—я не могъ себя убѣдить. Я приходилъ въ отчаяніе, но оказывался безсильнымъ». (См. Кюллера «Современные психопаты» стр. 96). И Достоевскій приходилъ въ отчаяніе, постоянно даже пребывалъ въ отчаяніи и все-же не могъ подѣлать съ собой ничего. Вѣчное безденежье—его хроническая мука. Онъ чувствовалъ себя немного лучше, спокойнѣе, когда въ карманѣ были деньги, и между тѣмъ спѣшилъ пробросать ихъ. Онъ стремился, какъ и всякій, къ свободѣ, независимости, къ самостоятельности, и самъ постоянно всю жизнь закабалялъ себя. Завтрашній день, угрозы нищеты тревожили его безпрестанно, однако онъ не принималъ, не могъ принять противъ нихъ никакихъ мѣръ. Прекрасно описано это душевное настроеніе въ романѣ «Игрокъ», произведеніи, вообще говоря, слабомъ, но очень характерномъ для Достоевскаго. Никакой дисциплины у человѣка, ни малѣйшей возможности бороться съ моментально зародившейся въ душѣ прихотью. Это, конечно, болѣзнь. Но еще маленькое соображеніе, котораго даже доказывать не берусь: Достоевскій страдалъ невѣріемъ въ себя: не давали ли ему эти траты, это бросаніе денегъ *призрачнаго, мгновеннаго* сознанія своей силы. «Вѣдь могу-же бросать я деньги,—разсуждалъ онъ,—сотни могу бросать... Не парія же, значитъ, я, не нищій»... А нищеты, необходимости «сократиться», войти въ узкія рамки жизни онъ боялся больше всего. Онъ стремился въ жизни къ исключительному, особенному; обыденное пугало его, вызывало отвращеніе. Къ тому-же и тщеславія въ немъ было болѣе, чѣмъ слѣдуетъ.

Бросивъ службу, Достоевскій занялся литературой, и это на всю уже жизнь.

Можно удивляться, какъ онъ съ первыхъ-же шаговъ на этомъ новомъ, почти незнакомомъ для него поприщѣ начинаетъ метаться изъ стороны въ сторону, подчиняясь внушеніямъ своей нетерпѣливой, ни на іоту не выдержанной натуры. Различные проэкты неминутно возникаютъ въ его головѣ, на первыхъ порахъ представляются, конечно, блестящими и увлекательными, но проходитъ немного времени, встрѣчаются неминуемыя жизненныя затрудненія, и Достоевскій охладѣваетъ къ своимъ проэктамъ такъ же быстро,

какъ быстро и воспалился. Сначала онъ хочетъ заняться пре имущественно переводами и очень энергично приглашаетъ къ со трудничеству брата Михаила. Недоконченный въ русскомъ пере водѣ романъ «Матильда» прежде всего привлекаетъ его вниманіе Надо докончить этотъ переводъ, надо издать романъ. Отъ этог проэкта Достоевскій въ восторгѣ. «Романъ, пишетъ онъ брату раскупится; Никитенко предсказываетъ успѣхъ. Притомъ любо пытство уже возбуждено. 300 экземпляровъ окупаютъ всѣ издерж ки печати. Пусти весь романъ въ 8-ми томахъ по цѣлковому— у насъ барыша семь тысячъ. Пиши не медля, хочешь или нѣтъ».. Слѣдуетъ проэктъ о переводѣ Шиллера и новыя страстныя изло женія этого проэкта въ письмахъ къ брату, но конечно ни «Ма тильда», ни «Шиллеръ» на свѣтъ не появились. Но въ это ж время идетъ и первая самостоятельная работа: Достоевскій сидит за первымъ своимъ романомъ «Бѣдные Люди», начатомъ еще в инженерномъ училищѣ. Кромѣ «Братьевъ Карамазовыхъ», эт единственное произведеніе, за которымъ Достоевскій посидѣлъ не разъ передѣлывалъ. «Кончилъ я его, пишетъ онъ къ брату в 1845 г., совершенно чуть-ли еще не въ ноябрѣ мѣсяцѣ, но в декабрѣ вздумалъ весь передѣлать; передѣлалъ и переписалъ, н въ февралѣ началъ опять обчищать, обглаживать, вставлять выпускать. Около половины марта я былъ готовъ и доволенъ» Достоевскій хотѣлъ не торопиться. «Я, пишетъ онъ, далъ клятв что коль и до зарѣзу доходить будетъ, крѣпиться и не писат на скоро, на заказъ. Заказъ задавитъ, загубитъ все. Я хочу что бы произведеніе мое было отчетливо, хорошо. Взгляни на Пушкина на Гоголя. Написали немного, а оба ждутъ монументовъ. И т перь Гоголь беретъ на печатный листъ 1000 р. с., а Пушкин продавалъ одинъ стихъ по червонцу». Романомъ своимъ Ѳе Мих. «серьозно доволенъ», но его берутъ сомнѣнія: гдѣ удасте помѣстить? Хочется въ «Отеч. Зап., но тамъ «груда рукописей, н прочтутъ пожалуй». Но за то, если удастся, «литературная бу дущность, жизнь—все обезпечено». Несмотря однако на то, что «ро манъ вещь строгая и серьезная», Достоевскимъ вдругъ овладѣ ваютъ сомнѣнія: «а вдругъ не примутъ?» «Не пристрою романа пишетъ онъ, такъ можетъ быть и въ Неву... Что-же дѣлать? ужь думалъ обо всемъ! Я не перенесу смерти моей idée fixe.»

Все однако устроилось лучше, чѣмъ могъ ожидать Достоевскій.

«Былъ май мѣсяцъ сорокъ пятаго года. Въ началѣ зимы я на

нал вдругъ «Бѣдные люди», мою первую повѣсть, до тѣхъ поръ ничего еще не писавши. Кончивъ повѣсть, я не зналъ, какъ съ ней быть и кому отдать. Литературныхъ знакомствъ я не имѣлъ совершенно никакихъ, кромѣ развѣ Д. В. Григоровича, но тотъ и самъ еще ничего тогда не написалъ, кромѣ одной маленькой статейки «Петербургскіе шарманщики» въ одинъ сборникъ. Зайдя ко мнѣ, онъ сказалъ: «принесите рукопись (самъ онъ еще не читалъ ее); Некрасовъ хочетъ къ будущему году сборникъ издать. и ему покажу». Я снесъ, видѣлъ Некрасова минутку; мы подали другъ другу руки. Я сконфузился отъ мысли, что пришелъ съ своимъ сочиненіемъ и поскорѣй ушелъ, не сказавъ съ Некрасовымъ почти ни слова. Я мало думалъ объ успѣхѣ, а этой партіи «Отечественныхъ Записокъ», какъ говорили тогда, я боялся; Бѣлинскаго я читалъ уже нѣсколько лѣтъ съ увлеченіемъ, но онъ мнѣ казался грознымъ и страшнымъ и—осмѣетъ онъ моихъ «Бѣдныхъ людей», думалось мнѣ иногда. Но лишь иногда... Писалъ я ихъ со страстью, почти со слезами—«неужели все это, всѣ эти минуты, которыя я пережилъ съ перомъ въ рукахъ надъ этой повѣстью,—все это ложь, миражъ, невѣрное чувство?» Но думалъ я такъ разумѣется, только минутами и мнительность немедленно возвращалась. Вечеромъ того же дня, какъ я отдалъ рукопись, я пошелъ куда-то далеко къ одному изъ прежнихъ товарищей; мы всю ночь проговорили съ нимъ о «Мертвыхъ душахъ» и читали ихъ. въ который разъ—не помню. Воротился я домой уже въ четыре часа. въ бѣлую, свѣтлую, какъ днемъ, петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и войдя къ себѣ въ квартиру, я спать не легъ, отворилъ окно и сѣлъ у окна. Вдругъ звонокъ, чрезвычайно меня удивившій, и вотъ Григоровичъ и Некрасовъ бросаются обнимать меня, въ совершенномъ восторгѣ, и оба чуть сами не плачутъ. Они наканунѣ вечеромъ воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу: «съ десяти страницъ видно будетъ». Но прочтя десять страницъ, рѣшили прочесть еще десять, а затѣмъ, не отрываясь, просидѣли уже всю ночь до утра, читая вслухъ и чередуясь, когда одинъ уставалъ. «Читаетъ онъ про смерть студента—передавалъ мнѣ потомъ уже наединѣ Григоровичъ,—и вдругъ я вижу, въ томъ мѣстѣ, гдѣ отецъ за гробомъ бѣжитъ, у Некрасова голосъ прерывается, разъ и другой, и вдругъ не выдержалъ, стукнулъ ладонью по рукописи: «Ахъ, чтобъ его!» Это про васъ-то, и этакъ мы всю ночь. Когда они кон-

чили (семь печатныхъ листовъ), то въ одинъ голосъ рѣшили идти ко мнѣ немедленно: «Что-жь такое что спитъ, мы разбудимъ его, это выше сна!» Потомъ, приглядѣвшись къ характеру Некрасова, я часто удивлялся той минутѣ: характеръ его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Такимъ, по крайней мѣрѣ, онъ мнѣ всегда казался, такъ что та минута первой встрѣчи была воистину проявленіемъ самаго глубокаго чувства. Они пробыли у меня тогда съ полчаса, въ полчаса мы Богъ знаетъ сколько переговорили, съ полслова понимая другъ друга, съ восклицаніями, торопясь, говорили о поэзіи и о правдѣ и о «тогдашнемъ положеніи», разумѣется, и о Гоголѣ, цитируя изъ «Ревизора» и изъ «Мертвыхъ душъ», но главное о Бѣлинскомъ. «Я ему сегодня же снесу вашу повѣсть, и вы увидите,—да вѣдь человѣкъ то, человѣкъ-то какой! Вотъ вы познакомитесь, увидите какая эта душа!—восторженно говорилъ Некрасовъ, тряся меня за плечи обѣими руками.—Ну, теперь спите, спите, мы уходимъ, а завтра къ намъ!» Точно я могъ заснуть послѣ нихъ! Какой восторгъ, какой успѣхъ, а главное—чувство было дорого. Помню ясно: «У иного успѣхъ: ну, хвалятъ, встрѣчаютъ, поздравляютъ, а вѣдь эти прибѣжали со слезами, въ четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ахъ, хорошо!» Вотъ что я думалъ: какой тутъ сонъ!»

На Достоевскаго пахнуло славой. По своей истеричности онъ даже преувеличивалъ свой успѣхъ. «Ну, братъ—пишетъ онъ въ 1846 году,—никогда, я думаю, слава моя не дойдетъ до такого апогея, какъ теперь. Всюду почтеніе неимовѣрное, любопытство насчетъ меня страшное. Я познакомился съ бездною народа, самаго порядочнаго. Князь Одоевскій проситъ меня осчастливить своимъ посѣщеніемъ, а графъ Соллогубъ рветъ на себѣ отъ отчаянія волосы. Панаевъ объявилъ ему, что есть талантъ, который ихъ всѣхъ въ грязь втопчетъ. Соллогубъ обѣжалъ всѣхъ и, зашедши къ Краевскому, вдругъ спросилъ его: «Кто этотъ Достоевскій? Гдѣ мнѣ достать Достоевскаго?» Краевскій, который никому въ усъ не дуетъ и рѣжетъ всѣхъ напропалую, отвѣчаетъ ему, что «Достоевскій не захочетъ вамъ сдѣлать чести и осчастливить своимъ посѣщеніемъ».. Всѣ меня принимаютъ какъ чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всѣхъ углахъ не повторяли: Достоевскій то-то сказалъ, Достоевскій то-то хочетъ сдѣлать. Бѣлинскій любитъ меня какъ нельзя болѣе. Тургеневъ влюбленъ въ меня...»

Прочтя «Бѣдные люди,» Бѣлинскій сказалъ Некрасову: «Приведите мнѣ Достоевскаго, приведите его скорѣе», и когда тотъ привелъ, то встрѣтилъ его сначала (минуты двѣ) важно и сдержанно, а потомъ вдругъ заговорилъ пламенно, съ горящими глазами: «Да вы понимаете-ль сами-то, что̀ вы это такое написали? Вы только непосредственнымъ чувствомъ, какъ художникъ, это могли описать. Но осмыслили-ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы намъ указали! Не можетъ быть, чтобы вы въ 20 лѣтъ ужь это понимали... Да вѣдь этотъ вашъ несчастный чиновникъ, вѣдь онъ до того заслужился и до того довелъ себя уже самъ, что даже и несчастнымъ-то себя не *смѣетъ* почесть отъ приниженности, и почти за вольнодумство считаетъ малѣйшую жалобу... Вѣдь это ужасъ! Это трагедія! Вы до самой сути дѣла дотронулись, самое главное разомъ указали!... Цѣните-же вашъ даръ и оставайтесь вѣрнымъ ему, и будете великимъ писателемъ»... Бѣлинскій очевидно увидѣлъ въ «Бѣдныхъ людяхъ» подтвержденіе своей любимой мысли, что ненормальныя общественныя условія коверкаютъ, ломаютъ, обезчеловѣчиваютъ человѣка, доводя его до такого ничтожества, когда онъ теряетъ образъ и подобіе!... Талантомъ Достоевскаго, самимъ Достоевскимъ онъ увлекся до послѣдней степени. Достоевскій отвѣчалъ ему тѣмъже. Выйдя отъ Бѣлинскаго, онъ остановился на углу его дома, смотрѣлъ на небо, на свѣтлый день и стыдливо думалъ про себя: «и неужели вправду я такъ великъ?» Имъ овладѣлъ какой-то робкій восторгъ: «О я буду достойнымъ этихъ похвалъ, и какіе люди! Я заслужу, постараюсь стать такимъ-же прекраснымъ, какъ они; пребуду вѣренъ! О, какъ я легкомысленъ, и если-бы Бѣлинскій только узналъ, какія во мнѣ есть дрянныя, постыдныя вещи! А все говорятъ, что эти литераторы горды, самолюбивы! Впрочемъ этихъ людей только и есть въ Россіи, они—одни, но у нихъ однихъ истина, а истина, добро, правда всегда побѣждаютъ и торжествуютъ надъ порокомъ и зломъ... Мы побѣдимъ; о, къ нимъ, съ ними!!!»

Достоевскій попалъ конечно въ избранный литературный кружокъ, кружокъ дѣйствительно лучшихъ людей того времени. Но—увы—не надолго. Почему?—это вопросъ трудный, но миновать его нельзя. Вотъ что расказываетъ Панаева-Головачева въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ объ этомъ періодѣ жизни Достоевскаго:

«Достоевскій пришелъ къ намъ въ первый разъ вечеромъ съ

Некрасовымъ и Григоровичемъ, который только-что вступалъ на литературное поприще. Съ перваго взгляда на Достоевскаго видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человѣкъ. Онъ былъ худенькій, маленькій, бѣлокурый, съ болѣзненнымъ цвѣтомъ лица; небольшіе сѣрые глаза его какъ-то тревожно переходили съ предмета на предметъ, а блѣдныя губы нервно передергивались. Почти всѣ присутствовавшіе тогда у насъ уже были ему знакомы, но онъ, видимо, былъ сконфуженъ и не вмѣшивался въ общій разговоръ. Всѣ старались занять его, чтобы уничтожить его застѣнчивость и показать ему, что онъ членъ кружка. С этого вечера Достоевскій часто приходилъ вечеромъ къ намъ; застѣнчивость его прошла, онъ даже выказывалъ какую-то задорность, со всѣми заводилъ споры, очевидно изъ одного упрямства противорѣчилъ другимъ. По молодости и нервности, онъ не умѣлъ владѣть собой и слишкомъ явно высказывалъ свое авторское самолюбіе и самомнѣніе о своемъ писательскомъ талантѣ. Ошеломленный неожиданнымъ, блистательнымъ первымъ своимъ шагомъ на литературномъ поприщѣ и засыпанный похвалами компетентныхъ людей въ литературѣ, онъ, какъ впечатлительный человѣкъ, не могъ скрыть своей гордости передъ другими молодыми литераторами, которые скромно выступали на это поприще съ своими произведеніями. Съ появленіемъ молодыхъ литераторовъ въ кружкѣ, бѣда была попасть имъ на зубокъ, а Достоевскій, какъ нарочно, давалъ къ этому поводъ, показывая свою раздражительностію и высокомѣрнымъ тономъ, что онъ несравненно выше ихъ по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбіе уколами въ разговорахъ; особенно на это былъ мастеръ Тургеневъ,— онъ нарочно втягивалъ въ споръ Достоевскаго и доводилъ его до высшей степени раздраженія. Тотъ лѣзъ на стѣну и защищалъ съ азартомъ иногда нелѣпые взгляды на вещи, которые сболтнулъ въ горячности, а Тургеневъ ихъ подхватывалъ и потѣшался. У Достоевскаго явилась страшная подозрительность, вслѣдствіе того, что одинъ пріятель передавалъ ему все, что говорилось въ кружкѣ лично о немъ и о его «Бѣдныхъ людяхъ». Пріятель Достоевскаго, какъ говорятъ, изъ любви къ искусству, передавалъ всѣмъ, кто о комъ что сказалъ Достоевскій заподозрилъ всѣхъ въ зависти къ его таланту и почти въ каждомъ словѣ, сказанномъ безъ всякаго умысла, находилъ, что желаютъ умалить его произведеніе, нанести ему обиду; онъ приходилъ уже къ намъ съ накипѣвшей злобой,

придирался къ словамъ, чтобы излить на завистниковъ всю желчь, душившую его. Вмѣсто того, чтобы снисходительнѣе смотрѣть на больного нервнаго человѣка, его еще сильнѣе раздражали насмѣшками. Достоевскій претендовалъ и на Бѣлинскаго за то, что онъ играетъ въ преферансъ, а не говоритъ съ нимъ о его «Бѣдныхъ людяхъ».

— Какъ можно умному человѣку просидѣть даже десять минутъ за такимъ идіотскимъ занятіемъ, какъ карты, а онъ сидитъ по два и по три часа!—говорилъ Достоевскій съ какимъ то озлобленіемъ.—Право, ничѣмъ не отличишь общества чиновниковъ отъ литераторовъ: то же тупоумное препровожденіе времени.

Бѣлинскій избѣгалъ всякихъ серьезныхъ разговоровъ, чтобы не волноваться. Достоевскій приписывалъ это охлажденію къ нему Бѣлинскаго, который иногда, слыша разгорячившагося Достоевскаго въ спорѣ съ Тургеневымъ, потихоньку говорилъ Некрасову, игравшему съ нимъ въ карты:—«Что это съ Достоевскимъ, говоритъ какую-то безсмыслицу, да еще съ такимъ азартомъ». Когда Тургеневъ, по уходѣ Достоевскаго, разсказывалъ Бѣлинскому о рѣзкихъ и неправильныхъ сужденіяхъ Достоевскаго о какомъ нибудь русскомъ писателѣ, то Бѣлинскій ему замѣчалъ:

— Ну, да вы хороши, сцѣпились съ больнымъ человѣкомъ, подзадориваете его, точно не видите, что онъ въ раздраженіи, самъ не понимаетъ, что говоритъ.

Когда Бѣлинскому передавали, что Достоевскій считаетъ себя уже геніемъ, то онъ пожималъ плечами и съ грустью говорилъ:

— Что за несчастье, вѣдь несомнѣнный у Достоевскаго талантъ, а если онъ, вмѣсто того, чтобы разработать его, вообразитъ уже себя геніемъ, то вѣдь не пойдетъ впередъ. Ему непремѣнно надо лечиться, все это происходитъ отъ страшнаго раздраженія нервовъ. Должно быть потрепала его, бѣднаго, жизнь! Тяжелое настало время, надо имѣть воловьи нервы, чтобы они выдержали всѣ условія нынѣшней жизни. Если не будетъ просвѣта, такъ чего добраго всѣ поголовно будутъ психически больны!...

Разъ Тургеневъ при Достоевскомъ описывалъ свою встрѣчу въ провинціи съ одной личностью, которая вообразила себя геніальнымъ человѣкомъ, и мастерски изобразилъ смѣшную сторону этой личности. Достоевскій былъ блѣденъ какъ полотно, весь дрожалъ и убѣжалъ, не дослушавъ разсказа Тургенева. Я замѣтила всѣмъ:—къ чему изводить такъ Достоевскаго?—но Тургеневъ

былъ въ самомъ веселомъ настроеніи, увлекъ и другихъ, такъ что никто не придалъ значенія быстрому уходу Достоевскаго. Тургеневъ сталъ сочинять юмористическіе стихи на Дѣвушкина, героя «Бѣдныхъ людей», будто бы тотъ написалъ благодарственные стихи Достоевскому, что онъ оповѣстилъ всю Россію объ его существованіи, и въ стихахъ повторялось часто «мамочка».

Съ этого вечера Достоевскій уже болѣе не показывался къ намъ и даже избѣгалъ встрѣчи на улицѣ съ кѣмъ нибудь изъ кружка. Разъ, встрѣтивъ его на улицѣ, Панаевъ хотѣлъ остановиться и спросить, почему его давно не видно, но Достоевскій быстро перебѣжалъ на другую сторону. Онъ видѣлся только съ однимъ своимъ пріятелемъ, бывшемъ въ кружкѣ, и тотъ сообщалъ, что Достоевскій страшно бранитъ всѣхъ и не хочетъ ни съ кѣмъ изъ кружка продолжать знакомства, что онъ разочаровался во всѣхъ, что это все завистники, безсердечные и ничтожные люди».

Самъ Достоевскій объясняетъ дѣло иначе: свой разрывъ съ Бѣлинскимъ и его кружкомъ онъ приписывалъ исключительно различіи въ убѣжденіяхъ. Вотъ что говоритъ онъ потомъ въ письмѣ къ Страхову, вспоминая объ этомъ разрывѣ: «я обругалъ Бѣлинскаго болѣе какъ явленіе русской жизни, нежели какъ лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явленіе русской жизни... Живи онъ теперь, съ пѣной у рта бросился бы вновь писать поганыя статьи свои, позоря Россію, отрицая великія ея явленія (Пушкина)... Но вотъ еще что: вы никогда его не знали, а я зналъ и видалъ и теперь осмыслилъ вполнѣ. Этотъ человѣкъ ругалъ мнѣ.... и между тѣмъ никогда онъ не былъ способенъ самъ себя и всѣхъ двигателей міра сопоставить съ Христомъ для сравненія. Онъ не могъ замѣтить того, сколько въ немъ и въ нихъ мелкаго самолюбія, злобы, нетерпѣнія, раздраженія, подлости» и пр... все въ доказательство того, что Бѣлинскій былъ поганое явленіе и плохой критикъ.

Надо однако замѣтить, что это не единственный отзывъ Достоевскаго о Бѣлинскомъ: онъ мѣнялъ свое мнѣніе, смотря по настроенію. Да развѣ не видно, какъ много *личнаго*, мелкаго, самолюбиваго раздраженія въ приведенныхъ словахъ. Иногда Достоевскій отзывался о Бѣлинскомъ совершенно иначе*), и если взять его-же современное свидѣтельство о разрывѣ, то тамъ объ убѣжденіяхъ

*) Въ письмѣ отъ 1846 г онъ напр. называетъ его „благороднымъ“.

и ихъ различіи ни слова. Эта сторона дѣла особенно рѣзко выступила на сцену послѣ.

Очевидно прежде всего, что люди не сошлись характерами; да и съ кѣмъ могъ бы близко сойтись Достоевскій въ эту эпоху при своей мнительности, болѣзненномъ, раздраженномъ самолюбіи? Барича Тургенева, всегда спокойнаго, самоувѣреннаго, остроумнаго, онъ могъ просто даже возненавидѣть именно потому, что самъ онъ представлялъ нѣчто діаметрально противоположное. Но онъ могъ-бы преклониться передъ высокой нравственностью Бѣлинскаго.

Онъ не сдѣлалъ однако и этого и разладъ, даже вражда быстро смѣнили мимолетную дружбу и, съ нашей точки зрѣнія, чтобы ни говорилъ по этому поводу самъ Достоевскій, объ этомъ положительно нельзя не пожалѣть. Ужь дурному-бы отъ Бѣлинскаго онъ во всякомъ случаѣ ничему не научился и отъ общенія съ нимъ, отъ близости къ нему могли-бы только окрѣпнуть и перейти въ дѣйствительность юношескія мечтанія о независимой литературной работѣ, о необходимости крѣпиться и не насиловать своего творчества, хотя-бы внѣшнія матеріальныя затрудненія и вынуждали къ тому. Правда и Бѣлинскій былъ литературнымъ поденщикомъ, до конца дней своихъ пребывавшимъ въ кабалѣ, но эта поденная работа никогда не могла измѣнить его взгляда на литературу, какъ на великое и святое дѣло. Принципъ литературной независимости и направленія впервые появился въ русской жизни вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, и эта независимость была нравственнымъ требованіемъ, на которое не должны были вліять ни нищета, ни внѣшній гнетъ. Странно, что Достоевскій, забывъ все это, обобщилъ дѣятельность Бѣлинскаго подъ именемъ «поганаго явленія», но еще страннѣе, что такой эпитетъ не вызывалъ въ немъ никакого раскаянія. Это уже больше чѣмъ раздраженіе, это истеричная, ничѣмъ не сдержанная злоба, на которую, несомнѣнно, былъ способенъ Достоевскій. Какъ бы то ни было, онъ отшатнулся отъ Бѣлинскаго и потерялъ многое, прежде всего то руководительство, въ которомъ такъ нуждалась его недисциплинированная натура. Онъ предпочелъ связаться съ Краевскимъ, который затягивалъ его авансами и высасывалъ изъ него всѣ соки, играя роль благодѣтеля. Достоевскій принялся работать во всю и быстро истощился.—Но вернемся на минуту назадъ.

Успѣхъ «Бѣдныхъ людей» превзошелъ всякія ожиданія и это не

надолго приподняло душевное настроеніе Достоевскаго, но приподняло именно какъ у больного: онъ серьезно вообразилъ, что онъ добился славы, что онъ чуть-ли не первая литературная величина въ Россіи, чуть-ли не выше Гоголя.

Разочарованіе наступило быстро; за неудачами дѣло не стало. Виноватъ во всемъ этомъ прежде всего самъ Достоевскій. Онъ сейчасъ-же задолжалъ повсюду, принялся писать черезъ силу, взялся за десять работъ и быстро надорвался не столько даже отъ работы, сколько отъ этой разбросанности и болѣзненной впечатлительности. Ему хотѣлось написать сразу дюжину повѣстей и разсказовъ и столько-же фельетоновъ. Между прочимъ онъ работалъ и надъ своимъ романомъ «Двойникъ», работалъ вяло, скучно, принуждая себя, выматывая и вымучивая изъ себя. Онъ опять жалуется на скуку: «я, пишетъ онъ брату, рѣшительно никогда не имѣлъ у себя такого тяжелаго времени. Скука, грусть, апатія и лихорадочное, судорожное ожиданіе чего-то лучшаго мучаетъ меня. А тутъ болѣзнь. Чортъ знаетъ что такое! Кабы какъ нибудь пронеслось все это!» Онъ положительно заваленъ работой: «Къ 5-му числу Генваря,—пишетъ онъ другой разъ,—обязался поставить Краевскому первую часть моего романа «Неточка Незванова»... Пишу день и ночь»... Долги мучаютъ. «Я плачу все долги мои посредствомъ Краевскаго. Вся задача моя заработать ему все въ зиму и быть ни копѣйки не должнымъ въ лѣто. Когда-то я выйду изъ долговъ. Бѣда работать поденьщикомъ! Погубишь все, и талантъ, и юность, и надежды, омерзѣетъ работа и сдѣлаешься наконецъ пачкуномъ, а не писателемъ.» Или: «Ты не повѣришь. Вотъ уже третій годъ моего литературнаго поприща, и я какъ въ чаду. Не вижу жизни, некогда опомниться; наука уходитъ за невременьемъ. Хочется остановиться. Сдѣлали они мнѣ извѣстность сомнительную, и я не знаю, до которыхъ поръ пойдетъ этотъ адъ... Тутъ бѣдность, срочная работа,—кабы покой!..» Безденежье и литературныя неудачи постоянно навѣваютъ тяжелыя мысли.

«Двойникъ» не удался, не удался до того, что онъ опротивѣлъ самому Достоевскому. На эту неудачу онъ не разъ жалуется въ письмахъ, говоря: «и «наши», Бѣлинскій, всѣ недовольны мною за Голядкина... Вся публика нашла, что до того Двойникъ «скученъ», вялъ, что читать нѣтъ возможности.» Но особенно поразилъ Достоевскаго неуспѣхъ Хозяйки (1847). Дѣйствительно, это очень слабая въ литературномъ отно-

шеніи вещь, но почему-то, по какому-то само бману творчества. Достоевскій писалъ ее съ громаднымъ увлеченіемъ. «Это не то что Прохарчинъ»,—говоритъ онъ,—которымъ я страдалъ все лѣто.» Не дописавъ еще разсказа до конца, онъ думалъ, что выходитъ лучше «Бѣдныхъ людей.» Между тѣмъ разсказъ не только никому не понравился, но Бѣлинскій назвалъ его нервической чепухой, и съ литературной точки зрѣнія былъ совершенно правъ. Надъ Достоевскимъ начали уже посмѣиваться. Про него говорили, что онъ исписался. Иногда онъ и самъ такъ думалъ. Онъ напрягалъ свои послѣднія силы, чтобы создать нѣчто крупное, но по торопливости у него ничего не выходило. Настроеніе духа было ужасно. Это было настроеніе таланта, закабалившаго себя въ положеніе литературнаго поденщика, настроеніе нервнаго, впечатлительнаго человѣка, хотѣвшаго сразу добиться всего и терявшаго все больше изо дня въ день. Онъ работалъ судорогами, ежеминутно перебѣгая отъ восторга передъ самимъ собой къ полному отчаянію. «Я все!»—«я нуль!»—онъ то и дѣло перескакивалъ съ одного полюса на другой.

Болѣзнь между тѣмъ принимала опасную форму. Это была болѣзнь не тѣла, а духа: Достоевскій былъ не столько боленъ въ дѣйствительности, сколько воображалъ себя больнымъ. Онъ постоянно лечился. То ему казалось, что онъ сходитъ съ ума, то полагалъ въ себѣ чуть-ли не чахотку. Отъ мнительности онъ и на самомъ дѣлѣ хворалъ. Его любимымъ развлеченіемъ было читать медицинскія книжки и выискивать въ себѣ опасные симптомы. Онъ мучился и доходилъ до того, что становился невыносимымъ самъ себѣ. Онъ самъ себѣ надоѣлъ и опротивѣлъ до послѣдней степени возможнаго. Съ нетерпѣніемъ, принимавшимъ форму страстнаго аффекта, онъ ждалъ отъ жизни какого-то толчка, какой нибудь встряски. То и дѣло восклицаетъ онъ: «когда же все это перемѣнится, когда все это кончится». Неудовлетворенное самолюбіе мучило его, самая жизнь пугала. Она грозила ему нуждой, всяческими ужасами, рисовала ему картины чуть-ли не голодной смерти или смерти въ больницѣ. Утомленный физически, надломленный и надорванный нравственно, онъ все яснѣе сознавалъ, что *такъ* жить больше онъ не можетъ. А какъ жить—онъ не зналъ. Литературная лямка давила и язвила плечи. Отъ нея ломило грудь, и между тѣмъ по слабости духа онъ тянулъ ее безъ отдыха, тянулъ изо дня въ день, мутно, безцѣльно, съ какимъ-то отчаяніемъ смотря впередъ, въ будущее!.. Все время онъ какъ будто страдалъ отъ тяжелаго предчувствія: оно оправдалось.

IV.

Кружокъ Петрашевскаго. — Арестъ. — Ссылка на каторгу. — Вліяніе каторги на характеръ и міросозерцаніе Достоевскаго.

40-вые годы были эпохой сильнаго, хотя и невиднаго броженія. Мы еще и теперь во многомъ продолжаемъ жить на ихъ счетъ. Въ это время интеллигентная русская мысль приняла новую форму, новую форму приняла и литература. Послѣ долгаго блужданія по дебрямъ нѣмецкой идеалистической философіи, русская мысль пришла наконецъ къ сознанію задачъ общественныхъ и гражданскихъ; благодаря этому и литература приняла иной характеръ, такъ какъ и она стала сознавать себя общественной силой. Появилось понятіе о направленіи.

Эта новая фаза сознанія прекрасно обрисована Бѣлинскимъ въ словахъ, относящихся еще къ 1842-му году. «Духъ нашего времени таковъ, говоритъ великій критикъ, что величайшая творческая сила можетъ только изумить на время, если она ограничится птичьимъ пѣніемъ, создастъ себѣ свой міръ, не имѣющій ничего общаго съ исторической и философской дѣйствительностью современности, если она вообразитъ, что земля недостойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны смущать ея поэтическихъ видѣній и таинственныхъ созерцаній. Съ однимъ естественнымъ талантомъ не далеко уйдешь. Талантъ имѣетъ нужду въ разумномъ содержаніи, какъ огонь въ маслѣ, чтобы не погаснуть. Свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности. Для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями. Для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которая не отдаляетъ убѣжденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни».

Интеллигентная мысль принимала все болѣе и болѣе практическій характеръ. Въ какое нибудь десятилѣтіе она сдѣлала громадный переходъ отъ нѣмецкаго оптимистическаго идеализма къ соціализму. Милютинъ въ это время (конецъ 40-хъ годовъ) началъ писать свои политико-экономическіе этюды, Валеріанъ Майковъ свои критическія статьи. Между прочимъ все чаще и чаще высказывались вотъ какія мысли: «самое важное характерное явленіе современной жизни заключается въ сильномъ стремленіи общества къ матеріальнымъ интересамъ. Вещественное благосостояніе человѣка занимаетъ умы всѣхъ сословій. Удобство земного существованія, довольство—вотъ главный вопросъ, вопіющая забота нашего вѣка. Метафизическая эпоха германской жизни кончилась; вниманіе и надежды обратились къ требованіямъ общественной жизни, которой нечего дѣлать въ холодной отлеченности философскихъ системъ. Первенство принадлежитъ наукамъ общественнымъ, интересы дѣйствительности должны быть разлиты по всему обществу и главная задача науки показать законы равномѣрнаго распредѣленія блага по всѣмъ классамъ. (Отеч. Зап. 1848 г. кн. X).

Настроеніе, вызвавшее такія мысли, понять не трудно; не трудно и опредѣлить, какъ должно было такое настроеніе смотрѣть на крѣпостное право. Оно могло его отрицать не только уже съ филантропической точки зрѣнія или во имя общечеловѣческой справедливости, но и ясно понимать его экономическій и политическій вредъ. Французская литература (Жоржъ Зандъ), масса либеральныхъ сочиненій, проникнувшихъ въ Россію контрабанднымъ путемъ, укрѣпили русскую мысль въ этой практической точкѣ зрѣнія. Молодежь бродила, она устраивала кружки, ассоціаціи. Самый извѣстный былъ кружокъ Петрашевскаго и другіе, зависящіе отъ него. Къ одному изъ нихъ, Дуровскому, принадлежалъ и Достоевскій.

«Дуровцы», какъ вспоминаетъ Милюковъ въ своихъ бесѣдахъ, «не мало сѣтовали на строгость цензуры. Но особенно занимали ихъ политическіе вопросы и прежде всего вопросъ объ освобожденіи крестьянъ». Да и какъ онъ могъ не занимать, напр., Достоевскаго, когда тотъ выросъ на Шиллерѣ, Гюго, Жоржъ Зандѣ и всегда всю жизнь свою стоялъ на сторонѣ униженныхъ и оскорбленныхъ. Но о революціи Достоевскій ни о какой не мечталъ. Онъ прямо говорилъ, что народъ нашъ не пойдетъ по стопамъ европейскихъ

революціонеровъ. «Я помню,—прибавляетъ Милюковъ, какъ съ обычной своей энергіей Достоевскій читалъ стихотвореніе Пушкина «Уединеніе». Какъ теперь слышу восторженный голосъ, съ какимъ онъ произнесъ заключительный куплетъ:

„Увижу-ль, о друзья, народъ неугнетенный
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря?..

Только разъ Достоевскій вспылилъ и увлекся. Когда однажды споръ сошелъ на вопросъ: «ну, а если бы освободить крестьянъ оказалось невозможнымъ иначе какъ черезъ возстаніе?»—Достоевскій воскликнулъ:—«такъ хотя бы черезъ возстаніе!».. На слѣдствіи «Достоевскій, сознаваясь въ участіи въ разговорахъ о возможности нѣкоторыхъ перемѣнъ и улучшеній, отозвался, что предполагалъ ожидать этого отъ правительства». Въ кружкѣ на Достоевскаго возлагались большія надежды какъ на пропагатора. «Какъ теперь, разсказываетъ Дебу, вижу я передъ собою Ѳед. Мих. на одномъ изъ вечеровъ у Петрашевскаго вижу и слышу его расказывающимъ о томъ, какъ былъ прогнанъ сквозь строй фельдфебель финляндскаго полка, или же о томъ, какъ поступаютъ помѣщики со своими крѣпостными. Не менѣе живо помню его, разсказывающаго свою «Неточку Незванову» гораздо полнѣе, чѣмъ она была напечатана. Помню, съ какимъ живымъ, человѣческимъ чувствомъ относился онъ и тогда къ тому общественному продукту, олицетвореніемъ котораго явилась у него впослѣдствіи Сонечка Мармеладова»... Въ общемъ же взгляды и программа петрашевцевъ сводились къ тому, чтобы при помощи кружковъ и пропаганды возбудить общество сначала къ ненависти, а потомъ и къ уничтоженію крѣпостного права. Но ни о какой «конституціи» они немечтали, наоборотъ даже—презирали ее. Изъ европейскихъ ученій они прониклись прежде всего соціализмомъ по формуламъ и картинамъ, даннымъ Фурье. Къ современному же европейскому строю они относились такъ же отрицательно, какъ и къ русскому.

У Достоевскаго это осталось навсегда. Когда онъ въ «Дневникѣ» говоритъ о современномъ положеніи Европы, онъ повторяетъ мысли петрашевцевъ. Вотъ они: «Новые побѣдители міра (буржуа, третье сословіе) оказались, можетъ быть, еще хуже прежнихъ деспотовъ, а свобода, равенство и братство оказались лишь громкими фразами... Политическая смѣна побѣди-

телей не принесла никакихъ результатовъ: въ жизни осталось униженныхъ и оскорбленныхъ столько же, сколько ихъ было и раньше, если не больше того. Великая революція (1789) не рѣшила ни одного соціальнаго вопроса, не примирила основного противорѣчія богатства и бѣдности. Въ Европѣ богатство и бѣдность стоятъ другъ противъ друга съ оружіемъ въ рукахъ. Въ этомъ ея страшное зло, въ этомъ угроза будущихъ кровавыхъ революцій. А Россія (прибавляетъ впослѣдствіи Достоевскій уже послѣ періода реформъ) сразу порѣшила вопросъ съ пролетаріатомъ, освободивъ крестьянъ съ землею».

Но въ 1849 г. крестьяне еще не были освобождены и Достоевскій сталъ революціонеромъ.

Достоевскій-революціонеръ... Неправда-ли, эти два слова другъ съ другомъ не вяжутся. Мы привыкли считать Достоевскаго за искренняго и убѣжденнаго христіанина, за проповѣдника мрачной вѣры въ очищающую силу страданія... И вдругъ онъ оказывается готовымъ выйти на площадь чуть не съ краснымъ флагомъ въ рукахъ и провозгласить новую жизнь по тому самому праву, которое онъ впослѣдствіи такъ энергично и даже съ такой ненавистью отрицалъ. Что побудило его къ этому? Можно прямо утверждать, что никакой доктрины въ головѣ у него не было и ни изъ за какой доктрины онъ не дѣйствовалъ. Это, прежде всего человѣкъ чувства, живущій конкретными впечатлѣніями, боязливый и мнительный, но способный на взрывы своеволія, именно благодаря своей мнительности и боязливости. Фанатикъ и доктринеръ Петрашевскій не нравился ему отъ начала до конца. Но личное доброе чувство его было возмущено постоянно повторяющимися передъ его глазами сценами насилія. Пѣвецъ униженныхъ и оскорбленныхъ, благодаря неудачамъ, благодаря своей собственной мрачной жизни, вдругъ, на время, почувствовалъ противъ нее какую-то ожесточенную злобу. Онъ рѣшился возстать на нее, найдя для того силы въ своемъ собственномъ отчаяніи. Такъ бываетъ и бываетъ нерѣдко: мгновенныя рѣзкія вспышки—удѣлъ слабыхъ и недисциплинированныхъ натуръ; сила ихъ—не сила воли, убѣжденія, а сила отчаянія... Результатомъ этого былъ сначала арестъ, потомъ—ссылка. Взятый въ ночь на 22 апрѣля 1849-го года, Достоевскій вмѣстѣ съ другими попалъ въ крѣпость и, конечно, въ одиночное заключеніе.

Первое время онъ какъ будто не очень даже былъ пораженъ

этимъ обстоятельствомъ; много читалъ, задумалъ два романа и три повѣсти и довольно бодро смотрѣлъ на будущее.

Больше всего заботился онъ, повидимому, не о своей собственной судьбѣ, а о судьбѣ брата своего Михаила, человѣка уже семейнаго и по ошибкѣ арестованнаго вмѣстѣ съ нимъ. Вотъ что пишетъ онъ ему изъ крѣпости: «Я несказанно обрадовался, любезный братъ, письму твоему. Получилъ я его 11-го іюня. Наконецъ-то ты на свободѣ, и воображаю, какое счастье было для тебя увидѣться съ семьей. То-то они, думаю, ждали тебя! Вижу, что ты уже начинаешь устраиваться по новому. Чѣмъ-то ты теперь занятъ и, главное, чѣмъ ты живешь? Есть-ли работа и что именно ты работаешь? Лѣто въ городѣ тяжело! Да къ тому-же ты говоришь, что взялъ другую квартиру и уже, вѣроятно, тѣснѣе!..» Самъ онъ «не унываетъ». «Конечно, пишетъ онъ, скучно и тошно, да что-же дѣлать? Впрочемъ не всегда и скучно. Вообще мое время идетъ чрезвычайно неровно,—то слишкомъ скоро, то тянется. Другой разъ даже чувствуешь, что какъ будто уже привыкъ къ такой жизни и что все равно. Я конечно гоню всѣ соблазны отъ воображенія, но другой разъ съ ними не справишься, а прежняя жизнь такъ и ломится въ душу съ прежними впечатлѣніями и прошлое переживается снова. Да, впрочемъ, это въ порядкѣ вещей. Теперь большею частью ясные дни и немного веселѣе стало. Но ненастные дни невыносимѣе. Казематъ смотритъ суровѣе... Времени даромъ я не терялъ: выдумалъ три повѣсти и два романа; одинъ изъ нихъ пишу теперь, но боюсь работать много!..» «Сплю я, продолжаетъ онъ,—часовъ 5 въ сутки и раза по четыре въ ночь просыпаюсь. Всего тяжелѣе время когда смеркнется, а въ 9 часовъ у насъ темно... Какъ бы я желалъ хоть одинъ день пробыть съ вами! Вотъ ужъ скоро три мѣсяца нашего заключенія; что-то дальше будетъ. Я только и желаю, чтобы быть здоровымъ, а скука дѣло переходное, да и хорошее расположеніе духа зависитъ отъ меня одного. Въ человѣкѣ бездна тягучести и жизненности, и я, право, не думалъ, чтобы было столько, а теперь узналъ по опыту...» Слѣдующее письмо изъ крѣпости написано уже въ болѣе минорномъ тонѣ, но видно, что Достоевскій по прежнему продолжаетъ бороться и что въ самой глубинѣ души его все еще не исчезаетъ надежда на возможность возвращенія къ жизни, оставленной за стѣнами крѣпости. «На счетъ себя, пишетъ онъ, ничего не могу сказать опредѣленнаго. Все та-же неизвѣстность касательно

нашего дѣла. Частная жизнь моя по прежнему однообразна; но мнѣ опять позволили гулять въ саду, въ которомъ 17 деревьевъ. И это для меня счастье. Кромѣ того я могу имѣть теперь свѣчу по вечерамъ—и вотъ другое счастье. Третье будетъ, если ты мнѣ поскорѣе отвѣтишь и пришлешь «Отеч. Зап.»; ибо я, въ качествѣ иногородняго подписчика, жду ихъ какъ эпохи, какъ соскучившійся помѣщикъ въ провинціи. Хочешь мнѣ прислать историческихъ сочиненій? Это будетъ превосходно... Но всего лучше если-бы ты прислалъ мнѣ Библію... О здоровьѣ моемъ ничего не могу сказать хорошаго. Вотъ уже цѣлый мѣсяцъ, какъ я просто ѣмъ касторовое масло и тѣмъ только и пробиваюсь на свѣтѣ. Геморой мой ожесточился до послѣдней степени и я чувствую грудную боль, которой прежде не бывало... Но и къ тому-же, особенно къ ночи, усиливается впечатлительность; по ночамъ длинные, безобразные сны и, сверхъ того, съ недавняго времени мнѣ все кажется, что подо мной колышется полъ и я въ моей комнатѣ сижу словно въ пароходной каютѣ».....

По окончательному приговору суда Достоевскій былъ отправленъ на каторгу, въ Омскій острогъ срокомъ на 4 года.

***

Дорога до Тобольска прошла благополучно, только часто случалось отмораживать себѣ или пальцы, или носъ, или уши. «Когда мы въ Тобольскѣ уже—вспоминаетъ Достоевскій—въ ожиданіи дальнѣйшей участи, сидѣли въ острогѣ на пересыльномъ дворѣ, жены декабристовъ умолили смотрителя и устроили на квартирѣ его свиданіе съ нами. Онѣ благословили насъ въ новый путь, перекрестили и каждаго надѣлили Евангеліемъ—единственная книга, позволенная въ острогѣ». Изъ Тобольска Достоевскаго и Дурова отправили въ Омскъ, во «второй разрядъ каторги».

Началась многострадательная жизнь... Но мы не будемъ много разсказывать о ней нашимъ читателямъ, а поговоримъ лучше, пользуясь случаемъ, объ одномъ изъ замѣчательныхъ произведеній Достоевскаго—его «Запискахъ изъ Мертваго Дома». Въ нихъ Достоевскій сконцентрировалъ всѣ свои острожныя впечатлѣнія, въ нихъ онъ на вѣки заклеймилъ то «недавнее давнопрошедшее», которое было вмѣстѣ съ другими недугами русской жизни уничтожено великими реформами минувшаго царствованія. Все разсказанное въ «Запискахъ» было и ничего такого болѣе нѣтъ: нѣтъ

ни ужасныхъ майоровъ, именующихъ себя «майорами Божьей милостью», нѣтъ истерзанныхъ и искалѣченныхъ подъ палками людей. Записки—историческій документъ и, прочтя ихъ, нельзя не воскликнуть: «слава Богу, что все это миновало». Какъ помнитъ читатель, разсказъ ведется отъ лица нѣкоего Александра Петровича, дворянина, сосланнаго во второй разрядъ каторги за убійство жены.

«Второй разрядъ каторги, въ которомъ я находился, говоритъ онъ, состоявшій изъ крѣпостныхъ арестантовъ подъ военнымъ начальствомъ, былъ несравненно тяжелѣе остальныхъ двухъ разрядовъ, т. е. 3-го заводскаго и перваго въ рудникахъ. Тяжелѣе онъ былъ нетолько для дворянъ, но и для всѣхъ арестантовъ, именно потому, что начальство и устройство этого разряда—все военное, очень похожее на арестантскія роты въ Россіи. Военное начальство строже, порядки тѣснѣе: всегда въ цѣпяхъ, всегда подъ конвоемъ, всегда подъ замкомъ; а этого нѣтъ въ такой силѣ въ первыхъ двухъ разрядахъ».

Но благодаря маленькимъ, имѣвшимся въ запасѣ деньгамъ, это тяжелое положеніе хоть немного да облегчалось: арестантъ могъ имѣть чай со своимъ особымъ чайникомъ и кое-какую дополнительную ѣду, хотя и острожная пища была, по его словамъ, сносна; хлѣбъ даже славился въ городѣ, зато щи изобиловали тараканами, на что арестанты впрочемъ не обращали ни малѣйшаго вниманія. «Помню ясно, говорится въ Запискахъ—что съ перваго шагу въ этой жизни меня поразило то, что я какъ будто и не нашелъ въ ней ничего особенно поражающаго, необыкновеннаго или, лучше сказать, неожиданнаго. Мнѣ показалось даже, что въ острогѣ гораздо легче жить, чѣмъ я воображалъ дорогой. Самая работа показалась мнѣ вовсе не такъ тяжелой, каторжной, и только довольно долго спустя догадался, что тягость и каторжность этой работы не столько въ трудности и безпрерывности ея, сколько въ томъ, что она принужденная, обязательная, изъ подъ палки». Работалъ онъ однако съ усердіемъ, «радостно», чтобы укрѣпить свое здоровье, и особенно любилъ сгребать снѣгъ и толочь алебастръ.

Первые три дня послѣ прибытія на каторгу его не «гоняли» на работу, а дали отдохнуть и осмотрѣться. Но кромѣ этого ни какой льготы не полагалось и черезъ три дня началась уже настоящая каторжная жизнь. Стоило ему только появиться въ острожной казармѣ, какъ онъ немедленно-же увидѣлъ будущихъ сво-

ихъ «сотоварищей» и передъ нимъ мелькнули десятки обезображенныхъ, клейменныхъ лицъ. Тутъ были и фальшивые монетчики», и молоденькій каторжный съ тоненькимъ личикомъ, успѣвшій уже зарѣзать 8 душъ, и много мрачныхъ, угрюмыхъ физіономій, обритыхъ на полъ головы и обезображенныхъ, съ ненавистью смотрѣвшихъ вокругъ себя и между прочимъ на него, дворянина-бѣлоручку. Только войдя въ свою казарму, арестантъ очутился *впервые* «среди дыма и копоти, среди ругательствъ и невыразимаго цинизма, въ мефитическомъ воздухѣ, при звонѣ кандаловъ, среди проклятій и безстыднаго хохота». Весь изломанный и измученный отъ чудовищныхъ впечатлѣній дня, онъ улегся на голыхъ нарахъ, положивъ подъ голову свои платье, вмѣсто подушки, которой, кстати сказать, у него не было, накрылся тулупомъ и постарался заснуть. Но сонъ не шелъ. Мрачныя мысли копошились въ головѣ, тяжелыя, неясныя предчувствія давили сердце. Онъ думалъ о будущемъ, о предстоящихъ ему четырехъ годахъ «такой» жизни, которые разростались въ его воображеніи въ цѣлую вѣчность, и самымъ ужаснымъ представлялось ему то, что все это время онъ «ни разу, ни одной минуты не будетъ одинъ: на работѣ всегда подъ конвоемъ, дома съ 200 товарищей и ни разу, ни разу одинъ». Товарищество по неволѣ, товарищество изъ подъ палки всегда тяжело, тѣмъ болѣе здѣсь въ острогѣ, гдѣ оно къ тому-же постоянно. Народъ собрался всякій: «иной изъ кантонистовъ, другой изъ черкесовъ, третій изъ раскольниковъ, четвертый православный мужичекъ, семью, дѣтей, милыхъ оставилъ на родинѣ, пятый—жидъ, шестой—цыганъ, седьмой—неизвѣстно кто. И всѣ-то они должны ужиться вмѣстѣ во что-бы то ни стало, согласиться другъ съ другомъ, ѣсть изъ одной чашки, спать на однихъ нарахъ». Были правда и интеллигентные товарищи, но съ ними, повидимому, онъ не могъ сойтись очень близко. Ему предстояло одиночество, убійственная по своему однообразію каторжная жизнь, полная матеріальныхъ неудобствъ и тяжелыхъ мыслей. Одинъ день былъ похожъ на другой какъ двѣ капли воды, и всю жизнь по необходимости приходилось сконцентрировать внутри себя. Попробуемъ же возстановить этотъ одинъ день. Вставали рано, нехотя, особенно зимой, по барабану, умывались въ ведрахъ, въ водѣ сомнительной чистоты и закусывали чернымъ хлѣбомъ, если не было у кого своего чаю. Уже съ первой минуты послѣ пробужденія зачастую начиналась

ссора и брань. Бранились и ссорились изъ за всякихъ пустяковъ, бранились подолгу, артистически, съ большимъ вниманіемъ къ этому искусству, съ стремленіемъ къ особо ловкимъ и обиднымъ выраженіямъ, что высоко цѣнилось въ острогѣ. До драки дѣло не доходило, но постоянно могло дойти; только «товарищи», понимая, какія неудобства вызоветъ для всѣхъ эта самая драка, останавливали обыкновенно ссорившихся, разъ замѣчали, что дѣло становится серьезнымъ. Потомъ, съѣвши по ломтю хлѣба, каторжные послѣ переклички отправлялись на работу. Шли партіями, обыкновенно молча, угрюмо. Находились правда болтуны, старавшіеся забавлять другихъ своимъ добровольнымъ шутовствомъ, но къ нимъ относились съ большимъ, подавляющимъ даже презрѣніемъ, называя «безполезными» людьми. Каторжные всѣми способами старались поддерживать свое достоинство, понимая его, конечно, по своему. Это достоинство заключалось прежде всего въ сдержанности, въ «соблюденіи себя», въ своего рода угрюмой сосредоточенности. Такъ что разговаривали по душѣ мало, изрѣдка переругивались. При встрѣчѣ съ кѣмъ нибудь просили милостыню. Разъ какъ-то, вспоминаетъ Алек. Петр., встрѣтился намъ по дорогѣ мѣщанинъ, остановился и засунулъ руку въ карманъ. «Изъ нашей кучки немедленно отдѣлился арестантъ, снялъ шапку, принялъ подаяніе— пять копѣекъ и проворно воротился къ своимъ. Эти пять копѣекъ въ то же утро проѣли на калачахъ, раздѣливъ ихъ на всю нашу партію по ровну». Дойдя до мѣста работы, принимались за нее большею частью неохотно: торопиться было некуда. Работа рѣдко бывала со смысломъ, обыкновенно выдумывалась просто для того, чтобы занять праздныя руки. Заставляли напримѣръ растаскивать старыя барки, когда лѣсу вокругъ было множество и онъ буквально ничего не стоилъ. Сами каторжные понимали, что дѣло ихъ ненужно, и вяло, лѣниво стучали топорами. Оживленіе въ работѣ чувствовалось только иногда, когда задавали «урокъ» и можно было при усердіи окончить его скорѣе, чѣмъ значилось по росписанію. Тутъ уже бросали лѣнь въ сторону, появлялось даже соревнованіе. Арестантъ-дворянинъ старался работать какъ другіе, но сначала это ему не удавалось, «Куда-бы я ни приткнулся помогать имъ во время работы, говоритъ онъ, вездѣ я былъ не у мѣста, вездѣ мѣшалъ, вездѣ меня отгоняли прочь чуть не съ бранью». Даже самые послѣдніе изъ каторжанъ, паріи острога и тѣ презрительно относились къ дворянамъ-бѣлоручкамъ. Потомъ для

нихъ нашлась работа болѣе подходящая: ихъ стали посылать толочь алебастръ, вертѣть точильное колесо или за нѣсколько верстъ на берегъ Иртыша на кирпичный заводъ. Томительное ощущеніе вызывала, вѣроятно, эта близость къ природѣ, видъ могучей спокойной рѣки, широкая, безпредѣльно тянувшаяся киргизская степь. Сердце просилось туда, въ это приволье; но конвойные стояли на своихъ мѣстахъ, тяжелые кандалы звякали при всякомъ движеніи. Арестантъ старался работать какъ можно усерднѣе, чтобы укрѣпить свое здоровье и съ радостью замѣчалъ, что это ему удается, «Физическая сила, говоритъ онъ, въ каторгѣ нужно не меньше нравственной для перенесенія всѣхъ матеріальныхъ неудобствъ этой проклятой жизни». Послѣ работы возвращались домой, въ острогъ, обѣдали, потомъ ходили по двору, огороженному высокимъ зубчатымъ заборомъ, и наконецъ, послѣ вечерней переклички, всѣхъ запирали по казармамъ. Засыпали конечно не сразу. По различнымъ угламъ шли разговоры, разсказы, тамъ играли въ карты или въ спеціально острожныя скверныя игры, тамъ ссорились. Поставленная на ночь «парашка» распространяла вокругъ себя ужасную вонь, безчисленныя острожныя насѣкомыя, особенно почему-то жестокія, не давали непревычному человѣку засыпать по цѣлымъ часамъ. Такъ проходили будни. Въ праздники, когда дѣлать было совсѣмъ нечего, было еще тяжелѣе, томительнѣе. Алек. Петр. заполнялъ время, прогулкой считая и пересчитывая острожныя «палци», но это не разгоняло меланхолическихъ думъ. Только большіе праздники вносили въ жизнь нѣкоторое оживленіе. Передъ пасхой говѣли. Это говѣнье въ острогѣ оставило у героя «Записокъ» воспоминаніе на всю жизнь; «я давно, разсказываетъ онъ, не былъ въ церкви. Великопостная служба, такъ знакомая еще съ дѣтства въ родительскомъ домѣ, торжественныя молитвы, земные поклоны все это расшевелило въ душѣ моей далеко-далеко минувшее... и помню мнѣ очень пріятно было, когда, бывало, утромъ по подмерзшей за ночь землѣ насъ водили подъ конвоемъ, съ заряженными ружьями, въ Божій домъ. Въ церкви мы становились тѣсной кучкой у самыхъ дверей, въ самомъ послѣднемъ мѣстѣ. Я припоминалъ, какъ, бывало, еще въ дѣтствѣ, стоя въ церкви я смотрѣлъ на простой народъ, густо тѣснившійся у входа и подобострастно раступавшійся передъ густымъ эполетомъ. Тамъ у входа, казалось мнѣ, тогда и молились-то не такъ, какъ у насъ, молились

смиренно, земно, съ какимъ-то полнымъ сознаніемъ своей приниженности. Теперь и мнѣ пришлось стоять на этихъ мѣстахъ, даже и не на этихъ: мы были закованные и ошельмованные. Отъ насъ всѣ сторонились, насъ какъ будто боялись, насъ каждый разъ одѣляли милостыней, и, помню, мнѣ это было какъ-то пріятно, какое-то утонченное особенное ощущеніе сказывалось въ этомъ удовольствіи!» Въ праздники и острогъ принималъ праздничный видъ. Каторжные надѣвали чистыя рубахи, на лицѣ у всѣхъ было какое-то особенное выраженіе... но не надолго. Въ тотъ-же вечеръ большинство лежали на нарахъ пьяные, передравшіеся, безобразные. Въ воздухѣ—страшная ругань, невыносимая вонь; повсюду много свирѣпыхъ или умильныхъ пьяныхъ лицъ. Тоска отъ бездѣлья, отъ нахлынувшихъ праздничныхъ воспоминаній дѣтства, отъ безобразныхъ сценъ — заставляетъ бѣжать изъ казармы, хотя-бы на дворъ, къ заостреннымъ палямъ острога. Однажды на Рождество каторжные устроили «театръ». Острогъ оживился; новое дѣло заинтересовало всѣхъ. Каторжнымъ было пріятно, что имъ довѣряютъ такое дѣло, что само начальство приходитъ смотрѣть на игру ихъ товарищей-актеровъ, что они на этотъ разъ какъ-бы совсѣмъ люди, и въ это время было больше бодрости, меньше ругани, пьянства, распутства. Гордые оказаннымъ довѣріемъ, каторжные сами поддерживали дисциплину. «Только немного позволили этимъ людямъ пожить по своему, повеселиться по людски, прожить хоть часъ не по острожному, и человѣкъ нравственно мѣняется хотя-бы на нѣсколько минутъ».

Льготъ и послабленій дворянину никакихъ не дѣлалось. Онъ носилъ тѣ-же кандалы, какъ и обыкновенные каторжники, ѣлъ ту-же пищу, ходилъ въ томъ же костюмѣ и дѣлалъ ту-же работу. Но ему, конечно, все это было вдесятеро тяжелѣе, чѣмъ другимъ. Какъ человѣкъ интеллигентный онъ чувствовалъ ежеминутно такія лишенія, которыхъ не приходилось испытывать ни одному изъ его сотоварищей. Пришлось оставить привычку читать, такъ какъ книгъ въ каторгѣ читать не полагалось, допускали только Евангеліе и библію, которую, кстати сказать, у него украли. Если грубое обращеніе вызывало тогда протестъ даже со стороны обыкновенныхъ преступниковъ, бывшихъ крѣпостныхъ, то легко себѣ представить, каково было переносить ту-же самую грубость человѣку культурному. Какъ-бы тамъ ни говорили, каторжная жизнь была тяжелая, мрачная...

Дуровъ угасъ въ острогѣ: «вошелъ онъ въ острогъ молодой, красивый, добрый, а вышелъ полуразрушенный, сѣдой, безъ ногъ, съ одышкой».—Выносить эту жизнь становилось иногда совсѣмъ не подъ силу. Тогда уходили обыкновенно въ лазаретъ, гдѣ доктора были такіе хорошіе, ласковые. Матеріальныя неудобства и всяческія стѣсненія были и здѣсь тѣ-же самыя, но «принудительность» жизни по извѣстной программѣ чувствовалась меньше. Можно было полежать въ волю, хотя и на скверной койкѣ и въ невозможномъ больничномъ халатѣ, спать, не слушая барабана, не ходить на работу.

*
* *

Незамѣтно однако подошли мы къ труднѣйшему вопросу о вліяніи каторги на характеръ и міросозерцаніе Достоевскаго. По этому поводу говорятъ различно; самъ Достоевскій то проклиналъ эту жизнь, то какъ будто благословлялъ ее. О. Миллеръ полагаетъ, что жизнь на каторгѣ была «урокомъ народной правды для Достоевскаго». Майковъ рѣшительно утверждаетъ, что каторга была полезна. Ястжемскій думаетъ, что она развила литературный талантъ. Мнѣнія самого Достоевскаго противорѣчатъ одно другому. Н. К. Михайловскій приписываетъ каторгѣ вліяніе безусловно вредное, чисто отрицательное.

Вопросъ, какъ кажется, неразрѣшимъ. Отвѣчать на него à priori—нельзя, такъ какъ на разныхъ людей каторга несомнѣнно произведетъ разное впечатлѣніе. Однихъ она можетъ доканать совершенно, какъ напр. Дурова, другихъ озлобить, какъ Петрашевскаго, третьихъ смирить. Послѣднее выпало, повидимому, на долю Достоевскаго. Онъ смирился до самой глубины своего міросозерцанія, но опять таки нельзя утверждать, чтобы оно стало совсѣмъ другимъ послѣ каторги. Мистическія идеи бродили въ немъ и раньше, уваженіемъ къ христіанству онъ былъ проникнутъ и до каторги. Самый темпераментъ его, какъ увидимъ ниже, остался въ сущности тѣмъ-же неровнымъ, истеричнымъ, склоннымъ къ меланхоліи. Правда, Достоевскій въ письмахъ изъ Семипалатинска утверждаетъ, что онъ сталъ совершенно другой и меланхолія изсчезла безъ слѣда. Но все это было въ самомъ началѣ послѣ выхода изъ острога, когда меланхолія дѣйствительно неумѣстна. Потомъ Достоевскій говорилъ, что на каторгѣ онъ сошелся и братски соединился съ народомъ, но тутъ-же прибавляетъ, что ему трудно было бы разсказать исторію перерожденія его

убѣжденій. «Да и произошло-то это перерожденіе постепенно послѣ долгаго времени».

Но совершенно въ сторонѣ оставить вопроса нельзя. Попытаемся же по мѣрѣ силъ отвѣтить на него безъ всякой предвзятой мысли и только на основаніи данныхъ біографіи. Если разсуждать по пословицѣ «все хорошо, что хорошо кончается», то быть можетъ, въ извѣстномъ смыслѣ и каторга была полезна. Мы уже видѣли, что настроеніе Достоевскаго до ареста было во всѣхъ отношеніяхъ ужасно и грозило разрѣшиться самоубійствомъ. Жизнь безъ признака воли, торопливая, нетерпѣливая жизнь— вотъ что говоритъ намъ біографія о періодѣ, предшествовавшемъ аресту. Достоевскій мучительно ожидалъ какого-нибудь толчка какой нибудь перемѣны. Судьбѣ было угодно отправить его въ Омскій острогъ. Какой путь приняла бы его жизнь безъ этого посторонняго вмѣшательства — сказать трудно; можетъ быть онъ покончилъ бы съ собой, можетъ быть сталъ революціонеромъ столько-же по убѣжденію, сколько отъ отчаянія въ себѣ, можетъ быть время помогло-бы ему дисциплинироваться. Все это одинаково вѣроятно и одинаково гадательно. Толчокъ явился извнѣ. Мы видѣли, что онъ не особенно даже поразилъ Достоевскаго, такъ какъ душевный кризисъ назрѣлъ и требовалъ разрѣшенія. Но вѣдь отсюда не слѣдуетъ, чтобы каторга прошла безъ слѣда. Оставляя въ сторонѣ вопросъ о ея вліяніи на здоровье, литературный талантъ и пр., твердо вмѣстѣ съ тѣмъ убѣжденные, что здоровье лучше поправить въ больницѣ, чѣмъ въ острогѣ, и что литературный талантъ для своего расцвѣта совсѣмъ не требуетъ такой радикальной перемѣны климата и обстановки, мы думаемъ, что вообще-то каторга произвела на Достоевскаго впечатлѣніе *подавляющее*, въ широкомъ смыслѣ слова. Правда, мысль, что онъ могъ не въ примѣръ прочимъ перенести такое тяжелое испытаніе, что самое тяжелое въ жизни пройдено придавала ему бодрости, но эта бодрость не выходила за предѣлы личной жизни и личной дѣятельности. Во всѣхъ другихъ сферахъ Достоевскій какъ-то замѣтно сократился. Нечего и говорить, что повтореніе петрашевской исторіи стало для него совсѣмъ немыслимымъ послѣ четырехлѣтняго пребыванія въ острогѣ. Отъ активной борьбы съ жизнью онъ отказался, хотя и прежде-то онъ брался за нее скорѣе отъ отчаянія, чѣмъ отъ какой другой причины. Онъ смирился, смирился въ томъ смыслѣ, что, видя

цѣлые годы вокругъ себя непреоборимыя преграды, слишкомъ глубоко проникся сознаніемъ своей личной слабости передъ окружающими его условіями. Формула «какъ хочу, такъ и дѣлаю» была уже совсѣмъ неприложима на каторгѣ. Острогъ—это сила, совершенно придавившая, уничтожившая личное «я». И Достоевскій какъ нельзя болѣе проникся этимъ внушеніемъ. Все, темпераментъ, взгляды остались тѣ-же, но извѣстнаго рода трусливость, запуганность передъ жизнью, и раньше бывшія въ немъ, рѣзче, яснѣе выступили наружу и совсѣмъ оттѣснили на задній планъ прежніе взрывы своеволія.

Мысль эта кажется проста, но, чтобы лучше убѣдиться въ ней, обратимся къ характеристикѣ внутренней жизни Достоевскаго на каторгѣ, тогда подавляющее впечатлѣніе послѣдней станетъ на нашъ взглядъ очевиднымъ.

Особенно мучило Достоевскаго то, что онъ былъ «не въ своемъ обществѣ»,—совсѣмъ чужимъ для всѣхъ своихъ невольныхъ товарищей. Дворянство, образованіе полагало между ними непроходимую пропасть.

«Важнѣе всего этого то, говоритъ онъ, что всякій изъ новоприбывающихъ въ острогъ, черезъ два часа по прибытіи, становится такимъ-же, какъ и всѣ другіе, становится у себя дома, такимъ-же равноправнымъ хозяиномъ острожной артели, какъ и всякій другой. Онъ всѣмъ понятенъ, и самъ всѣхъ понимаетъ, всѣмъ знакомъ, и всѣ считаютъ его за своего. *Не то съ благороднымъ, дворяниномъ... Какъ ни будь онъ справедливъ, добръ, уменъ—его цѣлые годы будутъ ненавидѣть и презирать всѣ, цѣлой массой; его не поймутъ, и главное, не повѣрятъ ему.* Онъ не другъ и не товарищъ, и хоть достигнетъ онъ наконецъ, съ годами, того, что его обижать не будутъ, но всетаки онъ будетъ не свой, и вѣчно мучительно будетъ сознавать свое одиночество и отчужденіе. Это отчужденіе дѣлается иногда совсѣмъ безъ злобы со стороны арестантовъ, а такъ, безсознательно. Не свой человѣкъ, да и только; а ничего нѣтъ ужаснѣе, какъ жить не въ своей средѣ. Мужикъ же, переведеный изъ Таганрога въ Петропавловскій портъ, тотчасъ же найдетъ тамъ такого-же точно русскаго мужика, тотчасъ же сговорится и сладится съ нимъ, а черезъ два часа они пожалуй заживутъ самымъ мирнымъ образомъ въ одной избѣ или шалашѣ». Волей неволей Достоевскому пришлось помириться съ своимъ уеди-

неніемъ и сосредоточиться исключительно на жизни внутренне
жизни своего сердца.

«Несмотря на сотни товарищей,—говоритъ онъ,—я былъ в
страшномъ уединеніи и полюбилъ, наконецъ, это уединеніе. Одн
нокій душевно, я пересматривалъ всю прошлую жизнь мою, пер
биралъ все до послѣднихъ мелочей, вдумывался въ мое прошед
шее, судилъ себя одинъ неумолимо и строго, и даже въ иной час
благословлялъ судьбу за то, что она послала мнѣ это уединеніе
безъ котораго не состоялись-бы ни этотъ судъ надъ собой, н
этотъ строгій пересмотръ прежней жизни. И какими надеждам
забилось тогда мое сердце! Я думалъ, я рѣшилъ, я клялся себ
что ужъ не будетъ въ моей будущей жизни ни тѣхъ ошибокъ, н
тѣхъ паденій, которыя были прежде. Я начертилъ себѣ програм
всего будущаго и положилъ твердо слѣдовать ей. Во мнѣ возро
дилась слѣпая вѣра, что я все это исполню и могу исполнить.
Я ждалъ, я звалъ поскорѣе свободу; я хотѣлъ испробовать себ
вновь, на новой борьбѣ. Порой захватывало меня судорожное не
терпѣніе. Но мнѣ было больно вспоминать теперь о тогдашнем
настроеніи души моей»

Тяжело это, конечно, чувствовать себя одинокимъ среди со
тенъ товарищей, не имѣть человѣка, съ которымъ можно бы подѣ
литься думами своего наболѣвшаго сердца,—еще тяжелѣе укрощат
въ себѣ постоянно накапливающуюся энергію, судорожные порыв
къ дѣятельности,—ограничить свою жизнь однимъ углубленіемъ в
себя самого, въ воспоминанія о прежнихъ ошибкахъ и заблужде
ніяхъ, и наблюдать все ту же однообразную, уже опостылѣвшу
обстановку. Въ этихъ грязныхъ и мрачныхъ палатахъ, среди чу
жихъ людей, не понимавшихъ его, не вѣровавшихъ въ него, Достоев
скій все больше и больше, въ глубинѣ души своей, сталъ прони
каться смиреніемъ. Могучимъ потокомъ лилось оно изъ постоянн
читавшагося и перечитывавшагося Евангелія, изъ всей окружающе
его обстановки, въ сравненіи съ которой онъ могъ не чувствоват
себя такимъ маленькимъ, такимъ ничтожнымъ.

Сила жизни, представляемая этими высокими стѣнами острога
черезъ которыя *нельзя* пройти, этой жестокостью и вмѣстѣ съ тѣм
непреложностью установленныхъ кѣмъ-то другимъ правилъ, ко
торыя распоряжаются тобой какъ хотятъ, безъ всякаго внима
нія къ *личной* твоей волѣ, безъ всякой заботы о личномъ твоем
счастьѣ, наконецъ эта внушительная масса клейменыхъ каторж

ыхъ, не хотящихъ признавать тебя, вѣрить въ тебя, прямо тебя *трицающихъ*—все это произвело, да и не могло не произвести, а личность Достоевскаго подавляющее впечатлѣніе.

Самая жизнь заставила его смириться, и въ этомъ новомъ астроеніи духа онъ осудилъ самого себя, свои прежнія увлеченія, зою прошлую дѣятельность, потому что вся она имѣла источ-акомъ—сознаніе своей силы, служеніе своей волѣ, властное требовательное отношеніе къ жизни вообще.

Въ этомъ раскаяніи, въ этомъ признаніи, что постигшая его ара вызвана его же собственными ошибками, заслужена, — нъ находилъ своеобразное и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ понятное тѣшеніе. Это не фатализмъ, но простой выводъ изъ христіан-аго ученія: личность свободна, а значитъ и отвѣтственна.

Читая одно Евангеліе, видя себя постоянно одинокимъ, малень-имъ, онъ смирился. Но отсюда до мистицизма еще далеко. Надо огласиться, что въ «Запискахъ изъ Мертваго Дома» даже не ахнетъ мистицизмомъ — а написаны онѣ уже 10 л. спустя ослѣ каторги; въ нихъ даже удивительно трезвый, удивительно оровый взглядъ на человѣка и требованія человѣческой природы. о уже съ этого времени лично въ отношеніи къ себѣ Досто-ескій сталъ, прежде всего, проповѣдывать смиреніе, отрицать вся-е властное, требовательное стремленіе въ жизни. Жизнь большая, дивительно большая, *неизвѣданной глубины* вещь. Не тебѣ, ма-енькому, слабосильному человѣку, возставать противъ нея. Ты и аботать то-не умѣешь, и понимать жизни не умѣешь: просто знаешь ея. Чего надо тебѣ? Своего счастья, удовлетворенія ѣхъ своихъ желаній? Но развѣ этого достаточно? Развѣ это не худ-ее рабство въ рукахъ собственныхъ страстей? Смирись прежде его самъ. Посмотри, чѣмъ жилъ ты, что въ тебѣ есть, сколько тамъ, днѣ души твоей, мелочности, подлости, пошлости. И не подсту-айся къ народу съ *своимъ* идеаломъ счастья, не навязывай ему *воего*: онъ знать тебя не хочетъ, онъ не вѣритъ въ тебя. Заслужи ачала его любовь, его расположеніе, его довѣріе. А способенъ ты хоть на это, хоть на эту дозу самоотреченія и самоограни-нія, наградой за которое является и любовь, и довѣріе?.. Господ-вующей мыслью міросозерцанія становится: подавленіе сво-о «я» и *смиренное* служеніе другимъ.

Но вернемся къ разсказу. Несмотря на смиреніе и самобиче-ніе, неутолимая жажда жизни оставалась. Достоевскій хотя

и называлъ, но совсѣмъ не считалъ себя «отрѣзанн мъ ломтемъ». Покинутая за Иртышемъ жизнь, оставленныя тамъ надежды изчезли не совсѣмъ. «Каторга будетъ длиться не вѣчность же,—разсуждалъ онъ—Послѣ нея выйду на свободу, писать буду Только не забыли ли *они* меня, примутъ-ли они меня опять в свою среду? Не отсталъ ли я отъ нихъ?» Однажды въ руки ем попала книга журнала. Посмотрите, съ какой страстью набрасывается онъ на нее...

«Помню, я началъ читать съ вечера, когда заперли казарму и прочиталъ всю ночь до зари. Это былъ номеръ одного журнала Точно вѣсть съ того свѣта прилетѣла ко мнѣ; прежняя жизн вся ярко и свѣтло возстала передо мною, и я старался угадать по прочитанному, много ли я отсталъ отъ этой жизни? много ли они прожили тамъ безъ меня: что ихъ теперь волнуетъ, какіе вопросы ихъ теперь занимаютъ? Я придирался къ словамъ, читалъ между строчками, старался находить таинственный смыслъ, намеки на прежнее; отыскивалъ слѣды того, что прежде, въ мое время, волновало людей, и какъ грустно мнѣ было теперь на дѣлѣ сознать до какой степени я былъ чужой въ новой жизни, сталъ ломтемъ отрѣзаннымъ».

Между тѣмъ проходили годы. Наступалъ и послѣдній.

«Съ какимъ нетерпѣніемъ,—говоритъ онъ,—я ждалъ зимы, с какимъ наслажденіемъ смотрѣлъ въ концѣ лѣта, какъ вянетъ листъ на деревѣ и блекнетъ трава въ степи» (на что люди в нормальномъ положеніи смотрятъ всегда такъ грустно)... «Настала наконецъ эта зима, давно ожидаемая... Но странное дѣло: чѣмъ ближе подходилъ срокъ, тѣмъ терпѣливѣе и терпѣливѣе я становился... Замѣчу здѣсь мимоходомъ, что вслѣдствіе мечтательности и долгой отвычки свобода казалась у насъ въ острогѣ какъ-то свободнѣе настоящей свободы, т. е. той, которая есть на самомъ дѣлѣ, въ дѣйствительности». «Наканунѣ самаго послѣдняго дня,—вспоминаетъ Достоевскій,—я обошелъ въ послѣдній раз около палъ весь нашъ острогъ... Здѣсь, здѣсь за казармами скитался я въ первый годъ моей каторги одинъ, сиротливый, убитый. Помню, какъ считалъ я тогда, сколько тысячъ дней мнѣ остается... На другое утро рано, еще передъ выходомъ на работу, когда только еще начинало свѣтать, обошелъ я всѣ казармы, чтобы попрощаться со всѣми арестантами. Много мозолистыхъ, сильныхъ рукъ протянулось ко мнѣ привѣтливо. Иные жали ихъ совсѣмъ по то-

зарищески, но такихъ было немного. Другіе уже очень хорошо понимали, что я сейчасъ стану совсѣмъ другой человѣкъ, чѣмъ они... и прощались со мной хоть и привѣтливо, хоть и ласково, но далеко не какъ съ товарищемъ, а будто съ бариномъ. Иные отвертывались отъ меня и сурово не отвѣчали на мое прощаніе. Нѣкоторые посмотрѣли даже съ какою-то ненавистью»...

Но все-же годы испытанія кончились. «Да, съ Богомъ!—восклицаетъ самъ Достоевскій. Свобода, новая жизнь, воскресеніе изъ мертвыхъ... Экая славная минута»!..

* *
*

Срокъ каторги окончился 2-го марта 1854 г. По окончаніи его, Достоевскій былъ зачисленъ рядовымъ въ сибирскій № 7 линейный батальонъ; 1-го октября былъ произведенъ въ прапорщики съ оставленіемъ при томъ же батальонѣ. Почти немедленно за этимъ возобновилась его переписка съ родными и друзьями, возобновилась и его литературная дѣятельность. Будучи въ Сибири, онъ написалъ «Дядюшкинъ сонъ», «Село Степанчиково». Тутъ же было задумано одно изъ лучшихъ его произведеній, «Записки изъ Мертваго Дома».

Пора однако, въ виду новыхъ событій въ жизни Достоевскаго, начать новую главу.

V.

Возвращеніе изъ ссылки.—Изданіе „Времени“ и „Эпохи“.—Женитьба.—Годы за границей.

Изъ времени пребыванія Достоевскаго въ Сибири (послѣ каторги) мы пропустили одинъ эпизодъ—если и не особенно, быть можетъ, важный, то все-же, надо думать, очень характерный. Мы разумѣемъ любовь къ М. Д. Исаевой, закончившуюся женитьбой на ней Достоевскаго, въ Кузнецкѣ. *Кто* была М. Д.—мы отчасти знаемъ, *что* такое была она—остается неизвѣстнымъ и до сей поры. Хотя Достоевскій и вышелъ изъ острога больной (у него появилась падучая), безъ денегъ, но жажда жизни была сильнѣе всего: онъ поспѣшилъ влюбиться. Его любовь, какъ кажется, первая въ жизни, была настоящей страстью. Какъ страсть, она вызывала ужасныя муки томленія, ревности. Повидимому, и М. Д. была не изъ спокойныхъ людей, а такая же подозрительная, ревнивая, мучительная натура, какъ и Достоевскій. Легко вообразить себѣ ихъ взаимныя отношенія, особенно если припомнить, что оба въ то время были буквально нищіе люди, что еще увеличивало ихъ и такъ уже тревожное настроеніе. Достоевскій любилъ, повидимому, съ какимъ-то самоотверженіемъ. По крайней мѣрѣ когда послѣ одной изъ безчисленныхъ ссоръ и «разставаній» будущая жена его увлеклась кѣмъ-то другимъ, вотъ что писалъ онъ о ней барону Врангелю, не совсѣмъ удачно принявъ на себя (вѣрнѣе, *вообразивъ*) роль друга: «Нельзя-ли пошевелить это дѣло, (т. е. выдачу пособія) чтобы оно разрѣшилось въ пользу Марьи Дмитріевны. Въ ея положеніи такая сумма цѣлый капиталъ, а въ теперешнемъ положеніи—ея единственный выходъ. Я трепещу, чтобы она, не дождавшись этихъ денегъ, не вышла замужъ. У *него* (кто это *онъ*—неизвѣстно), ничего нѣтъ, у ней—тоже». Послѣ этой ссоры, влюбленные

однако примирились. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Достоевскій пишетъ тому-же Врангелю: «Если не помѣшаетъ одно обстоятельство, то я до масляницы женюсь—вы знаете на комъ. Она же (Мар. Дм.) любитъ меня до сихъ поръ. Она сама сказала мнѣ: «*да*». *То, что я писалъ вамъ объ ней лѣтомъ* (объ ея увлеченіи другимъ), мало имѣло вліянія на ея привязанность ко мнѣ. Она скоро разувѣрилась въ своей новой привязанности. Еще лѣтомъ, по письмамъ ея, я зналъ объ этомъ. Мнѣ было все открыто. Она никогда не имѣла тайнъ отъ меня. О, еслибъ вы знали, что это за женщина!» Это уже тонъ восторженно-влюбленнаго. Повторяю, эпизодъ очень характерный, хотя и страшно скомканный, какъ въ біографіи, такъ и въ воспоминаніяхъ и даже въ письмахъ. Любопытна вотъ какая черта: Достоевскій самъ страстно влюбленный, беретъ на себя роль друга во время разрыва, устраиваетъ, по крайней мѣрѣ заботится о чужомъ благополучіи наперекоръ собственному, и это несмотря на свою страсть, на всю свою ревнивость. Моментъ сложный, едва затронутый самимъ Достоевскимъ въ его романѣ «Бѣсы»... Что это—самопожертвованіе, психопатическое смиреніе или, наконецъ, невѣроятная способность *самосочиненія*, которой такъ много у Достоевскаго? Вообразилъ себя человѣкъ вотъ такимъ-то, потомъ и дѣйствуетъ по воображенному образцу.

Но все-же несомнѣнно, что Достоевскій любилъ. Самъ онъ впослѣдствіи (1865 г.), въ письмѣ къ Врангелю, такъ характеризуетъ свою семейную жизнь съ Марьей Дмитріевной: «Другое существо, любившее меня и которое я любилъ безъ мѣры, жена моя, умерла въ Москвѣ, куда переѣхала за годъ до смерти своей отъ чахотки. Я переѣхалъ вслѣдъ за нею, не отходилъ отъ ея постели всю зиму 1864 г., и 16 апрѣля прошлаго года она скончалась, въ полной памяти, прощаясь, вспоминая всѣхъ, кому хотѣла въ послѣдній разъ отъ себя поклониться, вспомнила и объ васъ. Помяните ее хорошимъ, добрымъ воспоминаніемъ. О другъ мой, она любила меня безпредѣльно, я любилъ ее тоже безъ мѣры, *но мы не жили съ нею счастливо*. Все разскажу вамъ при свиданьи,—теперь-же скажу только то, что не смотря на то, что мы были съ ней положительно несчастны вмѣстѣ (по ея странному, мнительному и болѣзненно-фантастическому характеру), мы не могли перестать любить другъ друга, даже чѣмъ несчастнѣе были, тѣмъ болѣе привязывались другъ къ другу. Какъ ни странно это,

а это было такъ. Это была самая честнѣйшая, самая благороднѣйшая и великодушнѣйшая женщина изъ всѣхъ, которыхъ я зналъ во всю жизнь. Когда она умирала,—я хоть мучился, видя (весь годъ), какъ она умираетъ, хоть я цѣнилъ и мучительно чувствовалъ, что я хороню съ нею,—но никакъ не могъ вообразить, до какой степени стало больно и пусто въ моей жизни, когда ее засыпали землею. И вотъ ужъ годъ, и чувство все то-же, не уменьшается»...

Какъ бы то ни было, Достоевскій сейчасъ-же послѣ каторги вступилъ въ свою колею. Это—колея авансовъ, безденежья, литературной кабалы. Но тутъ уже она вызывалась дѣйствительной необходимостью. Сотни были забраны у Каткова, Кушелева и т. д. Плещеевъ одолжилъ Достоевскому 1000 р. Эти деньги просто спасли его, и, благодаря имъ, онъ могъ выбраться изъ Сибири. Кстати: напрасно, повторяю, Достоевскій, а за нимъ и другіе полагали, что каторга изцѣлила его отъ душевной болѣзни. Это ужь слишкомъ дешевая мысль. А наговорили по поводу ея куда какъ много. Е. О. Миллеръ наговорилъ, и Майковъ наговорилъ. Не въ нихъ однако дѣло: дѣло въ томъ, что Достоевскій остался такимъ же нетерпѣливымъ, мнительнымъ, истеричнымъ, неувѣреннымъ въ себѣ, какъ и до ссылки. Это дальнѣйшая біографія его достаточно подтверждаетъ. Ужь терпѣнія въ немъ не было никакого. Онъ и оды изъ Сибири пишетъ на манеръ Карамзинскихъ, и прошеніями забрасываетъ, и просто мечется на одномъ мѣстѣ. Въ офицеры вышелъ — сейчасъ въ отставку, потомъ сейчасъ—въ Тверь, потомъ сейчасъ—въ Петербургъ. Хлопотъ много, безпокойствъ куча, начаты десятки произведеній, въ головѣ ежеминутно зарождаются новыя темы. Наконецъ-то зимою 1859 года онъ, благодаря стараніямъ и собственнымъ, и друзей, очутился въ Петербургѣ, съ женой и пасынкомъ.

* * *

Надо припомнить, какое это было время. Тогда начинались и почти уже заканчивались такъ называемые 60-ые годы, по пословицѣ «безъ году недѣля». Но сдѣлано за эти *дни* было такъ много, что мы еще и теперь додѣлываемъ и передѣлываемъ тогда начатое. За эту эпоху обыватель получилъ *личность*, да еще какую, всю совокупность тѣхъ качествъ, которыя украшаютъ человѣческую особь, право говорить, писать, даже думать посвоему, т. е. совсѣмъ по программѣ, изложенной въ знаменитыхъ стихахъ Фелицы. Какъ люди многоопытные и многозна-

ющіе, мы не можемъ, конечно, не произнести безъ нѣкоторой усмѣшки: идеалистъ былъ обыватель 60-хъ годовъ; но его идеализмъ былъ идеализмомъ земли. Онъ заботился о земномъ счастьѣ всѣхъ, интересовался только практическими вопросами и задачами, съ презрѣніемъ отвергалъ всякую метафизику и схоластику, и твердо вѣрилъ, что завтра «все это исполнится». Общественное возбужденіе было громадно. Происходила всеобщая эмансипація—мужика, дѣтей, гражданина. Всѣ считали себя призванными рѣшать, а если не рѣшать, то по крайней мѣрѣ обсуждать. Обсуждали дѣйствительно много... и надо согласиться, что въ темахъ для обсужденія недостатка не чувствовалось: новая жизнь, новые принципы, съ такой геніальной смѣлостью, съ такой глубокой внутренней правдой провозглашенные съ высоты престола, должны были, какъ всѣми эти сознавалось, открыть новую эру и новый періодъ русской исторіи. *Старое* возбуждало негодованіе, ненависть, злобу. Точно проснувшись отъ вѣкового сна, обыватель осмотрѣлся и увидѣлъ, что куда ни кинь—повсюду традиція и при томъ «не изъ лучшихъ», повсюду недостатки и при томъ коренные. Тамъ—тьма невѣжества, здѣсь лицемѣріе, въ третьемъ мѣстѣ приниженность, отъ которой и больно, и совѣстно становится на душѣ. Работы—сколько угодно: надо сносить цѣлыя груды мусора, подъ которыми безсильно и со стономъ пропадаетъ свободный человѣкъ, надо ободрить прежде всего этого самаго человѣка, слишкомъ робкаго и забитаго, чтобы можно было ожидать отъ него какихъ либо цѣлесообразныхъ поступковъ. Очертя голову люди принялись за работу; къ тому-же самому дѣлу съ восторгомъ и умѣніемъ протягивались тысячи рукъ; всѣ были полны вѣры въ будущее и даже въ ближайшій завтрашній день. Обывателю некогда было передохнуть и задуматься, некогда было засѣсть въ свой кабинетъ и сочинять философскія системы, съ тѣмъ чтобы съ точки зрѣнія общихъ принциповъ оправдывать свои поступки. Понукаемый вѣрой въ необходимость все пересоздать и все переустроить, постоянно занятый удовлетвореніемъ все новыхъ и новыхъ потребностей жизни, обыватель любилъ мысли ясныя и общедоступныя, такъ сказать прямо ведущія къ дѣлу. «Просвѣщеніе полезно»—говорилъ обыватель, и сейчасъ-же въ его головѣ возникала картина такого жизнеустройства, когда въ каждой деревушкѣ и притомъ на самомъ видномъ мѣстѣ будетъ стоять школа, а въ ней «любящій и преданный своему дѣлу преподаватель» станетъ

толковать своимъ ученикамъ, что никакой буки на свѣтѣ нѣтъ, а есть только одно невѣжество и тьма непониманія... «Женщины хотятъ учиться!»—«Ну и пускай ихъ учатся!» восклицалъ обыватель и начиналъ проэктъ о пятиэтажномъ зданіи, въ которомъ не токмо краткія начатки, но и высшая математика будутъ преподаваться интересующимся ими дамамъ и барышнямъ. Обыватель того времени терпѣть не могъ ни эстетики, ни покаянія, ни философіи, предпочитая имъ краткія правила, съ которыми можно сейчасъ-же приступить къ осушенію болотъ и обращенію безплодныхъ степей въ засѣянную ниву. Вѣчно преслѣдуя практическія цѣли, онъ былъ нѣсколько доктринеромъ, нѣсколько нетерпимымъ, немного педантомъ и скучнымъ. Гнался онъ не за оригинальнымъ, а за полезнымъ: безъ всякаго сожалѣнія выбрасывалъ онъ изъ головы тѣ мысли, которыя мѣшали его работѣ и заставляли съ меланхолическимъ видомъ спрашивать о цѣляхъ бытія. «Ну, что-же такое, что я эгоистъ?—восклицалъ онъ.—Мнѣ можетъ быть хорошо, когда всѣмъ хорошо, слѣдовательно»... И онъ усаживался за писаніе какого нибудь трактата о вентиляціи. Онъ, т. е. тогдашній обыватель, былъ рѣзокъ, съ презрѣніемъ отворачивался отъ споровъ на тему о свободѣ воли, началѣ всѣхъ началъ и пр. «Свобода воли!—горячился онъ... Позвольте... Вѣдь пошехонская губернія голодаетъ... А почему голодаетъ? Потому что кобылка весь хлѣбъ съѣла. А почему кобылка весь хлѣбъ съѣла? Потому что мужикъ не знаетъ, что съ ней дѣлать. А почему онъ не знаетъ, что съ кобылкой дѣлать? Потому что мы, баре интеллигентные, штудируемъ Гегеля и т. д. Работать надо, работать!» и обыватель съ упоеніемъ бросался въ самую свалку жизни...

Очевидно, какую роль при подобной точкѣ зрѣнія на жизнь должна была пріобрѣсти журналистика. Осматриваться и писать книги было некогда: жизнь шла такъ быстро, что и ежемѣсячники едва могли удовлетворять вдругъ пробудившуюся въ читателяхъ потребность знать все и судить обо всемъ. Подъ напоромъ общаго возбужденія старая жизнь отступала, новое, являвшееся на мѣсто ея, требовало и новыхъ свѣдѣній, и новыхъ принциповъ. Писать книги, обобщать взгляды, систематизировать мнѣнія было, повторяю, некогда и журналистика пріобрѣла первенствующее положеніи въ дѣятельности русской интеллигенціи. По своему практическому характеру она подходила такъ сказать вплотную къ жизни, наскоро давала общія точки зрѣнія и общіе принципы,

не выпуская изъ виду факта жизни. Тотъ-же практическій характеръ ея направленія дѣлалъ необходимой для него полемику и даже ожесточенную, такъ какъ ежеминутно задѣвались и личный эгоизмъ, и личные интересы. Словомъ журналъ сталъ всѣмъ, у него появилась своя философія, своя политика, своя поэзія и беллетристика: онъ былъ истинной осью русской интеллигентной мысли.

Достоевскій не остался, конечно, въ сторонѣ. Вмѣстѣ съ своимъ братомъ онъ задумалъ издавать журналъ «Время» и дѣйствительно издавалъ его слишкомъ два года. Журналъ пользовался успѣхомъ; на первый годъ у него было слишкомъ 2 тысячи подписчиковъ, на второй около 4-хъ, потомъ 4 и т. д. Ѳ. Достоевскій былъ и редакторомъ, и сотрудникомъ. Работалъ онъ поразительно много. Кромѣ невидной, но безконечно трудной редакторской работы, имъ написаны были для журнала «Униженные и оскорбленные» и «Записки изъ мертваго дома». Литературно-критическихъ статей, фельетоновъ, замѣтокъ о заграничной поѣздкѣ мы уже не считаемъ.

Сотрудники «Времени», потомъ «Эпохи» (Страховъ, Достоевскій, Ап. Григорьевъ) имѣютъ особенное наименованіе: *почвенники*. По поводу этой «почвенности» намъ надо сказать нѣсколько словъ. Въ сущности, это попытка примирить славянофильство и западничество въ русскомъ смыслѣ, т. е. съ цѣлью создать самостоятельное русское міросозерцаніе. Совсѣмъ не увлекаясь панславизмомъ, почвенники требовали для Россіи безусловной гегемоніи, признавали за ней какъ политическое, такъ и духовное первенство среди другихъ славянскихъ племенъ. У славянофиловъ они заимствовали идею о необходимости возвратиться къ основамъ народной жизни, отъ которыхъ насъ отвлекла излишняя подражательность, излишнее лакейство и холопство передъ Европой. Но европейской культуры они не отрицали, только требовали, чтобы она не подавляла русской самобытности, чтобы она была переработана и стала органическимъ элементомъ русской жизни. Европейская культура это только *средство*, а *не цѣль* для выясненія русскаго самобытнаго духа. Россія велика, и велика именно въ духовномъ, нравственномъ отношеніи. Она выше другихъ государствъ, какъ представительница нравственнаго начала. Это нравственное начало примиритъ въ концѣ концовъ всѣ противорѣчія западной жизни, и построенная на немъ русская культура завершитъ европейскую. Нравственное же начало, это начало *любви*, которая выше всѣхъ политическихъ и эконо-

мическихъ явленій. Поэтому: пользуясь европейской культурой, какъ средствомъ, не надо забывать, что суть-то, цѣль не въ томъ, чтобы стать европейцами, а въ томъ, чтобы пробудить въ себѣ заснувшую, заглохшую отъ холопства передъ Европой *самобытность*.

Благодаря главнымъ образомъ произведеніямъ самого Достоевскаго, «Время», повторяемъ, пользовалось успѣхомъ. Его погубила одна изъ самыхъ странныхъ статей, когда либо появлявшихся въ русской литературѣ, статья Страхова «Роковой вопросъ». Ея никто не понялъ. Многіе изъ публики остались ею недовольны, такъ какъ полагали, что въ ней выражена антипатія къ полякамъ; «Московскія Вѣд.» приняли статью за рѣзкое полонофильское profession de foi, и петербургская цензура запретила за нее журналъ.

О своей жизни за это время самъ Достоевскій разсказываетъ слѣдующее: «Я сотрудничалъ своему брату во «Времени». Все шло прекрасно. Мой «Мертвый домъ» сдѣлалъ буквально фуроръ и я возобновилъ имъ свою литературную репутацію. У брата были огромные долги при началѣ журнала и тѣ стали оплачиваться,—какъ вдругъ въ 1863 г., въ маѣ, журналъ былъ запрещенъ за одну самую горячую и патріотическую статью, которую ошибкой приняли за самую возмутительную... Дѣло скоро поняли какъ надо, но ужъ журналъ былъ запрещенъ. Братъ выхлопоталъ себѣ позволеніе продолжать журналъ подъ названіемъ «Эпоха». Позволеніе вышло только въ концѣ февраля 1864 г. 1-й номеръ не могъ появиться раньше 20-го марта. Новыхъ подписчиковъ не было, пришлось досылать «Эпоху» вмѣсто «Времени» за 6 рублей въ годъ. Братъ долженъ былъ дѣлать долги, здоровье-же его стало разстраиваться. Меня подлѣ него въ это время не было. Я былъ въ Москвѣ подлѣ умиравшей жены моей. Схоронилъ ее. Бросился въ Петербургъ къ брату,—онъ одинъ у меня оставался; черезъ три мѣсяца умеръ и онъ, прохворавъ всего мѣсяцъ. Послѣ брата осталось всего 300 руб., и на эти деньги его похоронили. Кромѣ того до 25 т. долгу. Семейство его осталось буквально безъ всякихъ средствъ,—хоть ступай по міру. Я у нихъ остался одной надеждой, и они всѣ, и вдова и дѣти, сбились въ кучу около меня, ожидая отъ меня спасенія. Брата моего я любилъ безконечно,—могъ-ли я ихъ оставить? — Я рѣшился. Поѣхалъ въ Москву, выпросилъ у старой и богатой моей

тетки 10000 рублей и, воротившись въ Петербургъ, сталъ издавать журналъ. Но дѣло было уже сильно испорчено: требовалось выпросить разрѣшеніе цензурное издавать журналъ. Дѣло затянулось такъ, что только въ концѣ августа могла появиться іюньская книжка. Подписчики, которымъ ни до чего дѣла нѣтъ, стали негодовать. Имени моего не позволила мнѣ поставить цензура ни какъ редактора, ни какъ издателя. Надобно было рѣшиться на мѣры энергическія. Я сталъ печатать разомъ въ трехъ типографіяхъ, не жалѣлъ денегъ, не жалѣлъ здоровья и силъ. Редакторомъ былъ одинъ я, читалъ корректуры, возился съ авторами, съ цензурой, поправлялъ статьи, доставалъ деньги, просиживалъ до шести часовъ утра, спалъ по 5 часовъ въ сутки и ввелъ въ журналъ порядокъ, но было уже поздно... На 1865 г. у насъ осталось только 1300 подписчиковъ. Теперь мы не можемъ за неимѣніемъ денегъ издавать журналъ и должны объявить временное банкротство, а на мнѣ кромѣ того 16000 долгу по векселямъ и 5000 на честное слово... О, другъ мой, я охотно бы пошелъ опять въ каторгу на столько-же лѣтъ, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободнымъ. Теперь опять начну писать романъ изъ подъ палки, т. е. изъ нужды, наскоро. Онъ выйдетъ эффектенъ. Но того-ли мнѣ надобно! Работа изъ нужды, изъ-за денегъ задавила, съѣла меня. И все таки для начала мнѣ нужно теперь три тысячи! Бьюсь по всѣмъ угламъ, чтобы достать ихъ,—иначе погибну! Чувствую, что только случай можетъ спасти меня! Изъ всего запаса моихъ силъ и энергіи осталось у меня на душѣ что-то тревожное и смутное, что-то близкое къ отчаянію. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояніе и въ добавокъ—одинъ... А между тѣмъ все мнѣ кажется, что я только что собираюсь жить. Смѣшно, неправда-ли? Кошачья живучесть!..»

Начинается эпоха большихъ романовъ, какой-то судорожной и порывистой дѣятельности, во время которой въ грудѣ неудобочитаемаго, наскоро написаннаго матеріала вдругъ мелькаетъ молнія не знающаго равнаго себѣ генія.

* * *

Лѣтомъ 1865 года (послѣ паденія «Эпохи», смерти брата Михаила, а также первой жены) Достоевскій уѣхалъ за-границу. Несмотря на ужасное состояніе духа, болѣзнь, возню съ кредиторами, онъ какимъ то удивительнымъ подъемомъ генія написалъ въ это

время лучшій свой романъ «Преступленіе и наказаніе». Успѣхъ былъ поразителенъ; романъ читали и зачитывались имъ, и рѣдкіе недовольные голоса были какъ то совершенно неслышны. Здѣсь, въ этомъ романѣ, Достоевскій рѣзко перемѣнилъ тему и главнымъ дѣйствующимъ лицомъ вывелъ уже не униженнаго и оскорбленнаго, а свой излюбленный впослѣдствіи типъ—кающагося нигилиста. Раскольниковъ—это властный, требовательный человѣкъ, который воображаетъ, что онъ имѣетъ какое то особенное, исключительное право на жизнь, что онъ одинъ можетъ возстать на все общество, «преступить» можетъ всѣ его узаконенія, нравы, вѣрованія во имя своей личной воли, во имя требованій своей личной мысли. За это Достоевскій безжалостно казнитъ его, заставляетъ совершить ужь совсѣмъ ненужное преступленіе (убійство Елизаветы), отправляетъ на каторгу. Душа такого гордаго, самомнящаго интеллигента нуждается въ очищеніи. Это очищеніе можетъ быть дано только страданіемъ. Суть жизни, правда ея—въ смиреніи. Слѣдовательно, въ этомъ романѣ Достоевскій выяснился и высказался вполнѣ. Потомъ онъ постоянно повторяетъ ту же тему, постоянно злобствуетъ, ненавидитъ оторванную отъ народа и христіанской правды интеллигенцію и постоянно «пытаетъ» ее въ своихъ романахъ. Но странная вещь—неужели этотъ самый Раскольниковъ не униженный и не оскорбленный? За что-же такъ преслѣдовать, такъ ненавидѣть его, такъ настойчиво лечить каторгой? Вѣдь онъ боленъ—это во первыхъ, вѣдь онъ нищій—это во вторыхъ, вѣдь онъ одинокъ въ этой жестокой, равнодушной окружающей его жизни... А между тѣмъ Достоевскій безъ всякаго колебанія выноситъ ему обвинительный приговоръ! Десятки разъ повторенная основная идея романа гласитъ: «человѣческая личность свободна, а слѣдовательно и отвѣтственна. Грѣхъ предполагаетъ наказаніе и это наказаніе нужно, необходимо нужно для нравственнаго очищенія... но, какъ приложить эту теорію къ героямъ самого Достоевскаго? Всѣ они почти безъ исключенія психопаты, такимъ же психопатомъ является и Раскольниковъ. Мы видимъ передъ собой истеричныхъ, эпилептиковъ и пр. и понимаемъ съ точки зрѣнія здраваго смысла, что ихъ прежде всего лечить надо, а Достоевскій говоритъ: «въ каторгу», куда онъ и отправляетъ для излеченія Раскольникова. Художественнымъ геніемъ, безсознательнымъ процессомъ проникновенія великій романистъ самъ оправдалъ всѣхъ своихъ преступниковъ, но какъ мыслитель, становясь на

точку зрѣнія абсолютнаго индивидуализма, признавая свободу воли. вынесъ всѣмъ своимъ сумасшедшимъ обвинительный приговоръ. И приходится согласиться, что ни въ чемъ такой глубины анализа, ни въ чемъ такой дивной художественности, ни въ чемъ такой жестокой несправедливости не проявилъ Достоевскій, какъ именно въ лучшемъ своемъ романѣ.

Несмотря на большія деньги, полученныя за «Преступленіе и наказаніе», Достоевскій все-же сидѣлъ безъ гроша. Цѣлыя тысячи ушли на уплату долговъ и, только что окончивъ одну большую работу, онъ сейчасъ же поступаетъ въ кабалу къ нѣкоему издателю Стелловскому. Тотъ купилъ право изданія его сочиненій за 3000 р. и въ добавленіе потребовалъ отъ него новаго, нигдѣ не напечатаннаго романа. Былъ назначенъ срокъ, опредѣлена неустойка. Достоевскій, начавъ работать для Стелловскаго, ясно увидѣлъ, что если онъ будетъ писать, то не успѣетъ закончить романъ. Пришлось *диктовать*, и диктовалъ онъ своей будущей женѣ, Аннѣ Григорьевнѣ, которая записывала за нимъ стенографически. Анна Григорьевна приходила обыкновенно къ Достоевскому около полудня и работала до 2-хъ или 3-хъ часовъ. Сначала Достоевскій прочитывалъ то, что было продиктовано имъ наканунѣ, а потомъ диктовалъ дальше. Такая каторжная работа продолжалась три недѣли. Но повѣсть все-же удалось окончить, и нѣтъ худа безъ добра: за это время Ѳед. Мих. успѣлъ сблизиться съ Анной Григорьевной и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ (15 фев. 1867 г.) женился на ней.

Слѣдующіе 4 года Достоевскій провелъ за границей, преимущественно въ Германіи и Швейцаріи. Дефицитъ былъ конечно хроническимъ [1]); въ Женевѣ, напр., приходилось занимать по 5 или 10 франковъ у Огарева; часто дѣло доходило до того, что надо было закладывать платье, гнѣздиться въ одной комнатѣ и т. д. И это несмотря на самую усиленную работу—«по громадному роману въ годъ»: въ 1868 былъ написанъ «Идіотъ», въ 1869 повѣсть «Вѣчный мужъ», въ 1870-омъ «Бѣсы». Въ письмахъ своихъ за это время Достоевскій постоянно жалуется на нищету, на то что женѣ его приходится зимой закладывать послѣднюю шерстяную юбку, а самому ему—панталоны, чтобы получить два талера для

---

[1]) Кромѣ уплаты долговъ, Достоевскому приходилось еще много помогать семьѣ покойнаго брата, содержать своего пасынка и т. д.

телеграммы; жалуется на болѣзнь, на такое утомленное состояніе духа, что «не пишется». Съ какимъ-то отчаяніемъ восклицаетъ онъ: «никакъ, ну, никакъ не могу писать болѣе $3^1/_2$ листовъ въ мѣсяцъ. Это ужасно!»

Любопытныя подробности о его творческой работѣ мы находимъ въ этихъ-же письмахъ. Вотъ онѣ: «Не отвѣтилъ я вамъ до сихъ поръ потому, что буквально сидѣлъ, не разгибая шеи, за романомъ въ «Рус. Вѣст.» До того не удавалось, до того много разъ пришлось передѣлывать, что я наконецъ далъ себѣ слово не только не читать и не писать, но даже и не глядѣть по сторонамъ, прежде чѣмъ кончу то, что задалъ себѣ. И это вѣдь еще только самое первое начало. Говорятъ, что тонъ и манера разсказа должны у художника зарождаться сами собой. Это правда, но иногда въ нихъ сбиваешься, ихъ ищешь. Однимъ словомъ, никогда никакая вещь не стоила мнѣ большаго труда. Въ началѣ, т. е. еще въ концѣ прошлаго года, я смотрѣлъ на эту вещь («Бѣсы») какъ на вымученную, какъ на сочиненную, смотрѣлъ свысока. Потомъ посѣтило меня вдохновеніе настоящее и вдругъ полюбилъ вещь, схватился за нее обѣими руками—давай черкать написанное. Потомъ лѣтомъ опять перемѣна: выступило еще новое лицо, съ претензіей на настоящаго героя романа, такъ что прежній герой сталъ на второй планъ. Новый герой до того плѣнилъ меня, что я опять принялся за передѣлку». Горе въ томъ, что все это надо къ сроку, наскоро. Начало уже послано въ типографію «и вдругъ—пишетъ Ѳед. Мих.—я испугался: боюсь, что не по силамъ взялъ тему. Но серьезно боюсь, мучительно». «Эхъ—восклицаетъ онъ—если бы писать такъ, какъ пишетъ Тургеневъ». Рядомъ съ этимъ недовѣріе къ себѣ, даже къ своей репутаціи, боязнь, что редакція недовольна и пр. Повторяю — это невидная, но ужасная трагедія въ жизни Достоевскаго. Вся ненормальность, противоестественность работы на продажу, творческой къ тому-же работы—оставила такіе тяжелые, нехорошіе слѣды на дивныхъ произведеніяхъ генія! Рабъ, поденщикъ, литературный пролетарій—и всю свою жизнь такой! Тутъ есть отчего прійти въ отчаяніе.

Годы за границей тянулись скучно, однообразно. Мужу и женѣ обоимъ хотѣлось въ Россію, но и выѣхать не на что и кредиторы ждутъ тамъ. Свѣтъ и радость вносило въ жизнь только рожденіе дѣтей, ихъ лепетъ, ихъ первые шаги, но зато какъ мучительно было хоронить ихъ: «Охъ, Аполлонъ Николаевичъ,—пишетъ До-

стоевскій въ 1868 г. Майкову,—пусть, пусть смѣшна была моя любовь къ моему первому дитяти, пусть я смѣшно выражался объ ней во многихъ письмахъ многимъ поздравлявшимъ меня. Смѣшонъ для нихъ былъ только одинъ я, но вамъ, вамъ я не боюсь писать. Это маленькое 3-хъ мѣсячное созданіе, такое бѣдное, такое крошечное—для меня было уже лицо, характеръ. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходилъ. Когда я своимъ смѣшнымъ голосомъ начиналъ пѣть ей пѣсни, она любила ихъ слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее цѣловалъ; она останавливалась плакать, когда я подходилъ. И вотъ теперь мнѣ говорятъ въ утѣшеніе, что у меня еще будутъ дѣти. А Соня гдѣ? Гдѣ эта маленькая личность, за которую я, смѣло говорю, крестную муку приму, чтобы только она была жива. Но, впрочемъ, оставимъ это: жена плачетъ. Послѣ завтра мы наконецъ разстанемся съ нашей могилкой и уѣдемъ куда нибудь».

VI.

Слава.

8-го іюня 1871 года, не видя никакого выхода изъ затруднительныхъ денежныхъ обстоятельствъ и въ то же время чувствуя, что оставаться долѣе за границей невыносимо, Достоевскіе вернулись въ Петербургъ. Въ 1873 г. Достоевскій, по предложенію князя Мещерскаго, сдѣлался редакторомъ «Гражданина», получая по 200 рублей въ мѣсяцъ, кромѣ платы за статьи. Въ 1875 г. имъ написанъ романъ «Подростокъ», который и былъ напечатанъ въ вѣчной памяти «Отечественныхъ Запискахъ» за 1875 годъ. Послѣдній фактъ заслуживаетъ нѣкотораго вниманія, показывая намъ, до какой высоты дошла слава Достоевскаго: журналы совсѣмъ другого направленія соглашаются печатать, и даже съ радостью, его произведенія. Въ 1876 году Достоевскій приступилъ къ изданію «Дневника писателя».

Денежныя обстоятельства его—фактъ въ біографіи Достоевскаго очень существенный—значительно поправились за это время. Анна Григорьевна, его жена, взяла на себя хлопоты по изданіямъ прежнихъ произведеній и такимъ путемъ доставила мужу доходъ отъ 2 до 3-хъ тысячъ руб. въ годъ. Много помогалъ и гонораръ: за «Подростка» напр. Достоевскій получалъ по 250 руб. ст листа, за «Братьевъ Карамазовыхъ» по 300 р., «Дневникъ писателя» также доставлялъ недурной доходъ: въ 1876 г. у него было 1980 подписчикокъ и, кромѣ того, въ розничной продажѣ каждый номеръ расходился въ 2 или 2,500 экземплярахъ. Нѣкоторые номера потребовали 2-го или даже третьяго изданія. Въ 1877 г. у «Дневника» было уже 3,000 подписчиковъ, да столько-же №№ расходилось въ розничной продажѣ. Одинъ №, выпущенный въ 1880 г., въ августѣ мѣсяцѣ, содержавшій въ себѣ знаменитую рѣчь

о Пушкинѣ, напечатанъ былъ въ 4,000 экз. и разошелся въ нѣсколько дней. Было сдѣлано новое изданіе въ 2,000 экз. и разошлось безъ остатка. Единственный № Дневника на 1881 г. печатался уже въ 8,000 экземплярахъ. Всѣ эти 8,000 были распроданы въ дни выноса и погребенія. Сдѣлано было второе изданіе въ 6,000 экз. и разошлось нарасхватъ.

Такимъ образомъ, мы, очевидно, вступили въ періодъ созрѣвшей уже и все возраставшей славы. Но эта слава достигла апогея во время печатанія въ «Рус. Вѣст.» и выхода въ свѣтъ знаменитаго послѣдняго романа «Братьевъ Карамазовыхъ»—удивительной эпопеи человѣческой мерзости, безпорядочности и психопатіи. По нашему мнѣнію, это высшее, что было написано Достоевскимъ, хотя критика, обыкновенно, отдаетъ преимущество «Преступленію и Наказанію» или «Запискамъ изъ Мертваго Дома». Но, какъ кажется, никогда Достоевскій не пытался сдѣлать такого широкаго захвата жизни, какъ именно «въ Братьяхъ Карамазовыхъ». Всѣ его особенности, вся его индивидуальность какъ нельзя болѣе полно вылились въ этомъ романѣ. Это, такъ сказать—его завѣщаніе, которое мы можемъ принять или отвергнуть, но не оцѣнить котораго по достоинству было бы грустно. Самъ Достоевскій, кстати сказать, придавалъ «Братьямъ Карамазовымъ» наибольшее значеніе. Онъ мучился этимъ романомъ цѣлыхъ десять лѣтъ. Первые намеки на него мы встрѣчаемъ въ письмахъ къ Майкову 1869 и 70 гг. Вотъ что пишетъ Достоевскій: «Это будетъ мой послѣдній романъ. Объемомъ въ «Войну и Міръ» и идею вы же похвалили,—сколько я покрайней мѣрѣ соображаюсь съ нашими прежними разговорами съ вами. Этотъ романъ будетъ состоять изъ пяти большихъ повѣстей. Повѣсти совершенно отдѣлены одна отъ другой, такъ что ихъ можно будетъ пускать въ продажу отдѣльно. Первую повѣсть я назначаю Кашпиреву: тутъ дѣйствіе еще въ 40-хъ годахъ. Общее названіе романа есть «*Житье великаго грѣшника*», но каждая повѣсть будетъ носить названіе отдѣльно. Главный вопросъ, который проведется во всѣхъ частяхъ—тотъ самый, которымъ я мучился сознательно и безсознательно всю мою жизнь—*существованіе Божье*. Герой впродолженіе жизни то атеистъ, то вѣрующій, то фанатикъ, то опять атеистъ. 2-я повѣсть будетъ происходить вся въ монастырѣ. На эту 2-ю повѣсть я возложилъ всѣ мои надежды. Можетъ быть скажутъ наконецъ, что не все писалъ пустяки. Хочу выставить Тихона Задонскаго, подъ другимъ

именемъ конечно. 13-ти лѣтній мальчикъ, участвовавшій въ совершеніи уголовнаго преступленія, развитый и развратный, будущій герой всего романа, посаженъ въ монастырь родителями (кругъ высшій, образованный) для исправленія и обученія... Главное— Тихонъ и мальчикъ»...

Въ этомъ абрисѣ трудно не узнать будущихъ Карамазовыхъ. Тихонъ преобразился въ Зосиму; 13-ти лѣтній мальчикъ въ Алешу. Въ томъ уже фактѣ, что мальчику 13 лѣтъ, видно, такъ сказать, предчувствіе карамазовщины, т. е. мерзкой наслѣдственности, которая, передавая ребенку похоти, портитъ его уже съ пеленокъ. Муки о существованіи Божіемъ воплощены въ Иванѣ Карамазовѣ и, дѣйствительно, никогда никакой атеистъ не опускался до такой глубины скептицизма и анализа, которая вложена въ легенду о великомъ инквизиторѣ.

Самъ Достоевскій, повторяю, этимъ романомъ дорожилъ больше всего; самая мысль романа была *самой* душевной его мыслью. Правъ онъ или не-правъ, но тутъ онъ весь, цѣликомъ. Одна психопатологическая сторона чего стоитъ: тутъ и галлюцинаты (Иванъ, Ѳерапонтъ), и мистики, и истеричные, и маньяки, мучители, эпилептики, нравственные автоматы, люди съ извращенными прихотями и вся страшная картина романа— (всеобщее какое-то бѣснованіе) развертывается на почвѣ мерзкой наслѣдственности — карамазовщины. Въ ней-то Достоевскій воплотилъ любимыя свои мысли, что «человѣкъ деспотъ отъ природы и стремится быть мучителемъ», что «тиранія есть привычка, обращающаяся въ потребность» и т. д.

Но, оставивъ въ сторонѣ подробности, постараемся покороче отвѣтить на вопросъ: что такое карамазовщина? Разсматривать ее можно различно—и съ точки зрѣнія науки, и съ точки зрѣнія самого Достоевскаго. Въ первомъ случаѣ — это наслѣдственный психозъ, которымъ страдаетъ цѣлая семья, во второмъ — это въ отцѣ и дѣтяхъ, т. е. въ двухъ поколѣніяхъ воплощенная грѣховность человѣка. Развратомъ въ романѣ занимаются почти всѣ, даже пятнадцатилѣтняя, истеричная Лиза и та «предлагаетъ себя» Ивану Карамазову. Но важнѣе этой физической грѣховности является другая—грѣховность души. Тутъ уже Достоевскій не поскупился на краски и, согласно съ своей теоріей, обобщилъ всю эту самую послѣдняго вида грѣховность въ одномъ и томъ же проявленіи—именно въ *отрицаніи*. Отрицается все: семья, об

щество, нравственность, сама вѣра, самъ Богъ! Старикъ Карамазовъ не просто развратникъ и сластолюбецъ, онъ—атеистъ; Иванъ мучительно ищетъ вѣры, мучительно сомнѣвается; Алеша только *думаетъ*, что нашелъ ее въ монастырѣ; даже глупая г-жа Хохлакова и та «испытываетъ» силу божества, глупо, по-дѣтски, по бабьи, но все-же испытываетъ. У Карамазовыхъ и примыкающихъ къ нимъ нѣтъ Бога въ душѣ, оттого они не только развратники, но и преступники, дѣйствительные или «in spe»—безразлично. Въ невѣріи этомъ все зло ихъ жизни, вся путаница ихъ мыслей, причина ихъ рабства тѣлу и изломанности, исковерканности ихъ несчастнаго духа. Отецъ Карамазовъ такъ на цинизмѣ и застылъ; на сластолюбиваго старца возстала его-же кровь въ лицѣ Смердякова, и развратный богохульникъ гибнетъ, унося съ собой въ могилу неудовлетворенную похоть. Другіе Карамазовы (кромѣ Дмитрія) ищутъ вѣры, какъ бы понимая инстинктивно, что только она и можетъ спасти ихъ. Но найдутъ-ли они или нѣтъ—мы не знаемъ: романъ остался неоконченнымъ. Два тома — это лишь вступленіе къ грандіозной эпопеи ищущаго вѣры атеизма, но развязку все-же мы можемъ предчувствовать. Въ лицѣ старца Зосимы Достоевскій утверждаетъ, что есть выходъ изъ сомнѣній души, путаницы мыслей изъ безплодной невѣрующей жизни вообще. Зосима въ міру тоже былъ великимъ грѣшникомъ: распутничалъ, транжирилъ чужимъ трудомъ пріобрѣтенныя деньги, поднималъ руку на ближняго своего. Но въ раскаяніи, въ угрызеніяхъ совѣсти онъ обрѣлъ новую внутреннюю силу, и эта сила, побѣдивъ похоть, возродила его. Это сила любви, смиренія,—смиренія прежде всего. Зосима ушелъ въ монастырь, но не отрѣшился отъ міра, не ударился на путь суроваго аскетизма, но сталъ благодѣтельствовать другимъ, забывши себя. Вѣра, чистая христіанская вѣра поселилась въ душѣ его, «міръ» приходитъ къ нему въ лицѣ своихъ страждущихъ и обремененныхъ, и Зосима благодѣтельствуетъ имъ въ духѣ любви и правды. Отсюда тотъ ровный и мягкій свѣтъ, который разливаетъ фигура Зосимы по страницамъ романа, гдѣ съ такой поражающей яркостью выставлены всѣ тревоги, всѣ муки человѣческой души и жизни.

Исходъ Карамазовщины, повторяю,—это путь личнаго усовершенствованія, черезъ смиреніе, черезъ отреченіе отъ своего «я», но не отъ людей.

«Братья Карамазовы» отвлекли Достоевскаго на цѣлыхъ три года отъ публицистической дѣятельности. Но онъ всегда мечталъ вернуться къ ней; его впечатлительную натуру, воспламенявшуюся отъ самаго незначительнаго факта, всегда тянуло къ злобѣ дня. Въ 1881 г. онъ опять началъ издавать «Дневникъ», но умеръ, не успѣвъ продержать послѣдней корректуры. Какъ бы то ни было — забыть о его публицистической дѣятельности никакъ нельзя: при помощи ея Достоевскій имѣлъ громадное вліяніе на общественную мысль.

Въ «Дневникѣ» много противорѣчій, путаницы, странныхъ мыслей; но въ общемъ онъ имѣетъ вполнѣ опредѣленное направленіе и ясно выраженную основную мысль. Это—прежняя проповѣдь почвенниковъ, въ болѣе рѣзкомъ видѣ. Съ величайшею нетерпимостью Достоевскій относится съ «хлопству» и «лакейству» передъ Европой и изыскиваетъ почву для русской самобытности. Эта почва — народный духъ, православно-христіанскіе идеалы, воспринятые народомъ. Такая почва—существуетъ, поэтому Россія выше Европы, поэтому ей должна принадлежать гегемонія европейской цивилизаціи. Тутъ уже, особенно въ разсужденіяхъ о внѣшней политикѣ, Достоевскій часто впадаетъ въ шовинизмъ. Что-же новаго даетъ Россія? Демократизмъ и нравственныя начала жизни. «Мы всѣ демократы сверху донизу»—любилъ говорить Достоевскій. Нравственныя-же начала - тоже наша исключительная собственность: въ Европѣ господствуетъ идея *класса* и *историческаго* права. Оттого-то она мертва,— неподвижна. Россія сразу величайшія противорѣчія жизни разрѣшаетъ нравственнымъ подъемомъ, любовью. Доказательство — освобожденіе крестьянъ съ *землею*: это не только политическая мудрость, не только профилактика противъ пролетаріата, это нѣчто большее— высоко-нравственное, любовное отношеніе къ народу.

Совершенно понятно, что къ подобнымъ мыслямъ, особенно когда онѣ выражены въ слишкомъ уже рѣзкой и самоувѣренной формѣ и пересыпаны утвержденіями вродѣ того напр., что Константинополь долженъ быть нашъ немедленно, сейчасъ-же,—можно относиться различно. Но такъ какъ здѣсь совсѣмъ не мѣсто полемизировать съ Достоевскимъ, то оставимъ въ сторонѣ всѣ его парадоксы и шовинистскія вскрикиванія. Не менѣе интересенъ вопросъ, чего ради художникъ Достоевскій взялся за публицистику? Что у его было много хорошихъ мыслей—это несомнѣнно; одинаково

несомнѣнно, что никакой системы эти мысли изъ себя не представляли и никакой программой объединены не были. Оттого-то ихъ характеръ такой случайный, отрывочный. Самъ Достоевскій признается въ этомъ: «когда, пишетъ онъ, я сажусь писать (для Дневника) у меня 10—15 темъ, не меньше, но темы, которыя я излюбилъ больше, я поневолѣ откладываю: мѣста займутъ много, жару возьмутъ много и вотъ пишешь не то, что хотѣлъ... Вѣрите ли вы, напр., тому, что я еще не успѣлъ уяснить себѣ форму Дневника, да и не знаю, налажу ли это когда нибудь, такъ что Дневникъ хоть и два года будетъ продолжаться, а все будетъ вещью неудавшеюся! Но-жаль, если пропадетъ много хоть мимолетныхъ, но цѣнныхъ впечатлѣній». Достоевскому хочется проникнуть въ самую глубину современности, изучить ее во всѣхъ подробностяхъ и конечно изобразить въ большомъ романѣ. Его особенно интересуетъ молодое поколѣніе, семья и «многое другое». Оттого-то онъ и ведетъ дневникъ, чтобы знать жизнь во всѣхъ ея подробностяхъ. Это—матеріалъ, для будущаго. Факты, впечатлѣнія, мысли—все должно заноситься туда, чтобы не забылись. То приходитъ къ нему курсистка и онъ выноситъ свѣтлое и радостное впечатлѣніе о русской молодежи, то удается ему посѣтить Воспитательный домъ или колонію для малолѣтнихъ преступниковъ, то выслушать интересное дѣло.. Набросанныя на черно впечатлѣнія являются въ Дневникѣ... Велика-же должна была быть слава Достоевскаго, чтобы такая необдѣланная случайная вещь пользовалась успѣхомъ и мало того оказывала большое вліяніе на много численный кругъ читателей.

Дневникъ Писателя, повторяемъ, пользовался громадной популярностью. Съ выпускомъ каждаго новаго нумера, раскупавшагося на расхватъ, росла и слава писателя. Несомнѣнно, что одно время Достоевскій былъ для большинства самымъ виднымъ явленіемъ русской жизни, ея пророкомъ и апостоломъ. Послѣ появленія «Братьевъ Карамазовыхъ», въ особенности-же послѣ Пушкинской рѣчи—его слава достигла апогея. И Достоевскій это чувствовалъ, сознавалъ это. Только теперь, послѣ тридцати лѣтней литературной дѣятельности, изчезло наконецъ мучительное невѣріе въ себя, свои силы. «Одно мое имя стоитъ милліона» не безъ тщеславія говорилъ онъ и въ сущности былъ совершенно правъ. Онъ видѣлъ какіе восторги возбуждаетъ онъ во всѣхъ своихъ читателяхъ, какое довѣріе питаютъ къ нему его многочисленные поклонники, и наконецъ то нашла земное успокоеніе его многострадальная, такъ

безжалостно истерзанная жизнью душа. Вѣдь что это за ужасная участь выпала на долю Достоевскаго, и стоитъ, хотя на минуту, припомнить главныя ея событія, чтобы почувствовать, какъ мурашки начинаютъ ползать по спинѣ. Тяжелая юность съ постоянными настойчивыми мыслями о самоубійствѣ, съ мучительно подозрительнымъ отношеніемъ къ себѣ и людямъ, юность безъ любви, безъ вѣры, полная отчаянія и меланхолическихъ припадковъ, съ призракомъ, только *соблазнившимъ* призракомъ славы и суровыми тисками матеріальной кабалы и зависимости. Горячее воображеніе рисуетъ картины нищеты и заброшенности, болѣзненная мнительность отравляетъ всякое наслажденіе и даже не даетъ подойти къ нему; слабая воля не умѣетъ справиться съ прихотями и человѣкъ становится ихъ рабомъ, понимая весь ужасъ этого рабства. Такова—юность, потомъ—каторга, тяжелые годы выжиданій, постоянной борьбы съ неудовлетворенной, придавленной жаждой жизни. Потомъ славная минута освобожденія, но, къ сожалѣнію, только минута. Матеріальныя затрудненія портятъ все, отравляютъ самыя восторги творчества. Генію приходится работать изъ за денегъ, вымучивать и выпытывать изъ себя длиннѣйшіе романы, чтобы хоть какъ нибудь свести концы съ концами. Наконецъ — слава Богу! — все это кончено: трудомъ, испытаніями, страданіемъ заработаны слава, достатокъ, спокойствіе духа и тѣмъ отраднѣе можно ими пользоваться. Достоевскаго не только признали, не только поставили рядомъ съ Тургеневымъ и Толстымъ, но и повѣрили въ него. Высшее для писателя наслажденіе—возможность руководить чужою мыслью, а слѣдовательно и чужою жизнью стало ему доступнымъ. Онъ становится спокойнымъ, самоувѣреннымъ. Самый тонъ его писемъ мѣняется: онъ ровнѣе, какъ бы отъ сознанія силы, и утерялъ свою нервность и раздражительность; постоянно отражается на немъ какое то умиленное настроеніе духа. Повторяю—не даромъ досталась Достоевскому слава, и въ каждомъ знакомомъ съ обстоятельствами его многострадальной жизни она не можетъ не возбудить чувства нравственной удовлетворенности....

Но пока вернемся на минуту къ «Дневнику».

Особенно интересовался въ немъ Достоевскій судебными процессами, положеніемъ русской женщины и войной за освобожденіе славянъ.

Достоевскій былъ горячимъ и неизмѣннымъ приверженцемъ

женскаго движенія. Въ майскомъ выпускѣ «Дневника» за 1876 г. онъ восторженно заявляетъ, что въ русской женщинѣ заключена «одна наша огромная надежда, одинъ изъ залоговъ нашего обновленія». «Возрожденіе русской женщины,—говоритъ онъ,—въ послѣднія 20 лѣтъ оказалось несомнѣннымъ. Подъемъ въ запросахъ ея былъ высокій, откровенный, безбоязненный. Онъ съ перваго раза внушилъ уваженіе, по крайней мѣрѣ заставилъ задуматься... Русская женщина *цѣломудренно* пренебрегла препятствіями и насмѣшками. Она твердо заявила о своемъ желаніи участвовать въ общемъ дѣлѣ и приступила къ нему не только безкорыстно, но и самоотверженно. Русскій человѣкъ въ эти послѣднія десяти лѣтія страшно поддался разврату стяжанія, цинизма, матеріализма, женщина же осталась гораздо болѣе вѣрна чистому поклоненію идеѣ, служенію идеѣ. Въ жаждѣ высшаго образованія она проявила серьезность, терпѣнье и представила примѣръ величайшаго мужества».

Совершенно естественно по этому, если женщины оказывали Достоевскому особенное вниманіе. То онѣ приходили къ нему на квартиру поговорить, познакомиться, посовѣтоваться, то писали ему безчисленныя письма, въ которыхъ излагали самое интимное своей жизни, требуя руководительства. Хотя и мало было у Достоевскаго свободнаго времени, такъ какъ онъ былъ заваленъ работой и по изданію Дневника, и по отдѣлкѣ Братьевъ Карамазовыхъ, однако онъ и для разговоровъ находилъ минуты и старался обстоятельно отвѣчать на всѣ письма и запросы. Онъ принималъ даже на себя различныя хлопоты и порученія. Когда напр. одна кореспондентка сообщила ему, что она непремѣнно хочетъ учиться, а чтобы учиться ей приходится бѣжать отъ отца и жениха, котораго она не любитъ,—Достоевскій выхлопоталъ ей покровительство одной очень вліятельной дамы. Вмѣстѣ съ этимъ онъ совѣтовалъ быть осторожнѣе: «быть женою купца вамъ съ вашимъ настроеніемъ, конечно, невозможно. Но быть доброй женой и матерью—это вершина назначенія женщины... Вы поймете сами, что я ничего не могу сказать вамъ о томъ молодомъ человѣкѣ, о которомъ вы пишете. Впрочемъ вы пишете, что его не любите, а это *все*. Ни и изъ за какой цѣли нельзя уродовать свою жизнь. Если не любите, то и не выходите. Если хотите—пишите еще». Всѣ отвѣты Достоевскаго удивительно мягки, сердечны, откровенны. Онъ очень жалѣетъ напр. о неудачѣ экзамена изъ географіи другой своей кореспондентки, поддерживаетъ ея душевную бодрость.. «Не-

позволительно и непростительно—пишетъ онъ—такъ быть нетерпѣливой, такъ торопиться и въ ваши крошечные лѣта восклицать: изъ меня ничто не выйдетъ! Вы еще подростокъ, вы не доросли еще до права такъ восклицать. Напротивъ, при вашей настойчивости непремѣнно что нибудь да выйдетъ.. Въ васъ кажется есть и чувство, и теплота сердца, хотя вы капризны и избалованы. (Вы не сердитесь на меня за это?) Не сердитесь, дайте мнѣ вашу руку и успокойтесь. Боже мой! Съ кѣмъ не бываетъ неудачъ?» Еще въ одномъ письмѣ Достоевскій благословляетъ какую-то барышню на трудный подвигъ идти сестрой милосердія въ Сербію... Повсюду въ этихъ письмахъ удивительная сердечность и вмѣстѣ съ тѣмъ много бодрости душевной...

Судебными процессами Достоевскій одинаково интересовался, прежде всего какъ общественный дѣятель. Благодаря его вліянію и участію, была, напр., оправдана подсудимая Корнилова, такъ какъ Достоевскій своими статьями *доказалъ*, что она невинна. Не все, значитъ, страданіе нужно!

Пушкинскій праздникъ 1880 г. былъ его настоящимъ апоѳеозомъ, восторженнымъ признаніемъ его величія. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ Н. Страховъ: «Какъ только началъ говорить Ѳедоръ Михайловичъ, зала встрепенулась и затихла. Хотя онъ читалъ по писанному, но это было не чтеніе, а живая рѣчь, прямо, искренно выходящая изъ души. Всѣ стали слушать такъ, какъ будто до тѣхъ поръ никто и ничего не говорилъ о Пушкинѣ. То одушевленіе и естественность, которыми отличается слогъ Ѳедора Михайловича, вполнѣ передавались и его мастерскимъ чтеніемъ. Не говорю ничего о содержаніи рѣчи, но, разумѣется, оно давало главную силу этому чтенію. До сихъ поръ слышу, какъ надъ огромною притихшею толпою раздается напряженный и полный чувства голосъ: «Смирись, гордый человѣкъ, потрудись, праздный человѣкъ!» Восторгъ, который разразился въ залѣ по окончаніи рѣчи, былъ неизобразимый, непостижимый ни для кого, кто не былъ его свидѣтелемъ. Толпа, давно зарядившаяся энтузіазмомъ и изливавшая его на все, что казалось для того удобнымъ, на каждую громкую фразу, на каждый звонко произнесенный стихъ, эта толпа вдругъ увидѣла человѣка, который самъ весь полонъ энтузіазма, вдругъ услышала слово, уже несомнѣнно достойное восторга, и она захлебнулась отъ волненія, она ринулась всею душею въ восхищеніе и трепетъ. Мы тутъ же всѣ принялись цѣловать Ѳе-

дора Михайловича; нѣсколько человѣкъ, вопреки правиламъ, стали пробираться изъ залы на эстраду; какой-то юноша, какъ говорятъ, когда добрался до Ѳедора Михайловича, упалъ въ обморокъ. Восторгъ толпы заразителенъ. И на эстрадѣ, и въ «комнатѣ для артистовъ», куда мы ушли съ эстрады въ перерывъ засѣданія, всѣ были въ радостномъ волненіи и предавались похваламъ и восклицаніямъ. «Вы сказали рѣчь»,—обратился Аксаковъ къ Достоевскому, —«послѣ которой И. С. Тургеневъ, представитель западниковъ, и я, котораго считаютъ представителемъ славянофиловъ, одинаково должны выразить вамъ величайшее сочувствіе и благодарность». Не помню другихъ подобнымъ заявленій; но живо осталось въ моей памяти, какъ П. В. Анненковъ, подошедши ко мнѣ, съ одушевленіемъ сказалъ: «вотъ что̀ значитъ геніальная, художественная характеристика! Она разомъ порѣшила дѣло!»

Въ заключеніе біографіи скажемъ о послѣднихъ дняхъ жизни Достоевскаго и его похоронахъ. Этотъ разсказъ составленъ по воспоминаніямъ очевидцевъ:

«Дней за десять до той кратковременной болѣзни, которая свела Ѳедора Михайловича въ могилу, зашелъ къ нему Ѳ. Ѳ. Миллеръ напомнить ему о данномъ имъ обѣщаніи участвовать въ пушкинскомъ вечерѣ 29 января (въ день смерти поэта). Незванный гость, какъ это и часто случалось съ Ѳр. Ѳед., оказался для него хуже татарина. Ѳ. Ѳ. Миллеръ не сообразилъ, что Ѳедоръ Михайловичъ какъ разъ дописывалъ тогда январскій номеръ возобновляемаго имъ «Дневника Писателя». Онъ выбѣжалъ къ посѣтителю въ прихожую съ перомъ въ рукѣ, страшно взволнованный—отчасти, какъ самъ тутъ и высказалъ, опасеніемъ, пропуститъ-ли ему цензура нѣсколько такихъ строкъ, содержаніе которыхъ должно развиваться въ дальнѣйшихъ номерахъ «Дневника» втеченіе всего года. «Не пропустятъ этого,—говорилъ онъ,—и все пропало» (извѣстно, что, не имѣя средствъ для внесенія залога, онъ долженъ былъ издавать свой «Дневникъ» подъ предварительною цензурою). Строки, такъ его безпокоившія, надо думать, тѣ, которыми открывается 5-й отдѣлъ 1-й главы «Дневника» (подъ заглавіемъ: «Пусть первые (т. е. народъ) скажутъ, а мы пока постоимъ въ сторонкѣ, единственно чтобы уму-разуму поучиться»): На это есть одно магическое словцо, именно: «Оказать довѣріе». Да, *нашему народу* можно оказать довѣріе, ибо онъ достоинъ его. Позовите сѣрые зипуны и спросите ихъ самихъ объ ихъ нуждахъ, о томъ

чего имъ надо, и они скажутъ вамъ правду, и мы всѣ въ первый разъ, можетъ быть, услышимъ настоящую правду»... На другой же день Орестъ Ѳед. Миллеръ узналъ о внезапной болѣзни (разрывъ легочной артеріи) Достоевскаго и поспѣшилъ къ Аннѣ Григорьевнѣ въ сильнѣйшемъ безпокойствѣ о томъ, не вчерашніе-ли разговоры повредили Ѳедору Михайловичу. Къ успокоенію своему, О. О. узналъ, что вслѣдъ затѣмъ Ѳедоръ Михайловичъ былъ дѣйствительно сильно взволнованъ другимъ совсѣмъ посѣщеніемъ. Сильный припадокъ обыкновенной его болѣзни сразу сокрушилъ давно надломленный организмъ. Послѣднія 8 лѣтъ своей жизни Федоръ Михайловичъ страдалъ эмфиземой, вслѣдствіе катарра дыхательныхъ путей. Смертельный исходъ болѣзни произошелъ отъ разрыва легочной артеріи и былъ случайностью, которой никто изъ докторовъ не предвидѣлъ. Предсмертная болѣзнь началась съ 25 на 26 января небольшимъ кровотеченіемъ изъ носа, на которое Ѳедоръ Михайловичъ не обратилъ ни малѣйшаго вниманія. 26 января онъ былъ, повидимому, совершенно здоровъ, не хотѣлъ посовѣтоваться съ докторами насчетъ кровотеченія. Въ 4 часа по полудни сдѣлалось первое кровотеченіе горломъ. Тотчасъ привезли всегдашняго доктора Ѳедора Михайловича, Фонъ-Бретцеля. Уже при немъ, часа черезъ полтора послѣ перваго кровотеченія, произошло второе, болѣе сильное, причемъ больной потерялъ сознаніе. Когда онъ пришелъ въ себя, то пожелалъ исповѣдаться и причаститься. До прихода священника онъ простился съ женой и дѣтьми и благословилъ ихъ. Послѣ причащенія почувствовалъ себя гораздо лучше. Весь день 27 января кровотеченіе не повторялось и Ѳедоръ Михайловичъ чувствовалъ себя сравнительно хорошо. Очень заботился онъ о томъ, чтобы «Дневникъ Писателя» вышелъ непремѣнно 31 января. Просилъ Анну Григорьевну прочесть принесенныя корректуры и поправить ихъ. Потомъ просилъ читать ему газеты. 28 января до 12 часовъ все шло благополучно, но затѣмъ полила опять кровь и Ѳедоръ Михайловичъ очень ослабѣлъ. Въ это время къ нему заѣхалъ А. Н. Майковъ и провелъ у него все предобѣденное время, наблюдая и ухаживая за нимъ вмѣстѣ съ домашними. Во всю свою жизнь въ рѣшительныя минуты Ѳедоръ Михайловичъ имѣлъ обыкновеніе, по словамъ Анны Григорьевны, раскрывать на удачу то самое евангеліе, которое было съ нимъ въ каторгѣ, и читать верхнія строки открывшейся страницы. Такъ поступилъ онъ и тутъ, и далъ прочесть женѣ. Это было Мато. гл. III, ст. 11:

«Іоаннъ же удерживалъ его и говорилъ: мнѣ надобно креститься отъ Тебя и Ты-ли приходишь ко мнѣ? Но Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: не удерживай, ибо такъ надлежитъ Намъ исполнить великую правду». Когда Анна Григорьевна прочла это, Ѳедоръ Михайловичъ сказалъ:—«ты слышишь «не удерживай»,—значитъ я умру»,—и закрылъ книгу. Предчувствіе скоро оправдалось. За два часа до кончины Ѳедоръ Михайловичъ просилъ, чтобы Евангеліе было передано его сыну, Ѳедѣ. Послѣ обѣда А. Н. Майковъ вернулся къ больному уже не одинъ, а съ женою, и при нихъ въ 6½ часовъ вечера случилось послѣднее кровотеченіе, за к оторымъ слѣдовало безпамятство и агонія. Анна Ивановна Майкова сейчасъ же пустилась отыскивать еще доктора и привезла съ собой Н. П. Черепнина, котораго нашла у одного изъ его знакомыхъ. Но, когда они пріѣхали, уже наступалъ конецъ и Н. П. Черепнину довелось только услышать послѣднія біенія сердца Ѳедора Михайловича. Нѣсколько ранѣе пріѣхалъ Б. М. Маркевичъ, описавшій потомъ послѣднюю минуту смерти.(См. «Русскій Вѣстникъ» 1881 г. февраль). Ѳедоръ Михайловичъ скончался 28 января 1881 г., въ 8 часовъ 38 минутъ вечера.

Похороны Достоевскаго представляли явленіе, которое всѣхъ поразило. Такого огромнаго стеченія народа, такихъ многочисленныхъ и усердныхъ заявленій уваженія и сожалѣнія не могли ожидать самые горячіе поклонники покойнаго писателя. Можно смѣло сказать, что до того времени еще не бывало на Руси такихъ похоронъ. Всего яснѣе покажутъ дѣло цифры: въ погребальной процессіи, при выносѣ тѣла изъ квартиры (Кузнечный переулокъ, № 5) въ Церковь Св. Духа, въ Невской Лаврѣ, было несено 67 вѣнковъ и пѣли 15 хоровъ пѣвчихъ. 67 вѣнковъ—это значитъ 67 депутацій, 67 различныхъ обществъ и учрежденій, пожелавшихъ оказать почести умершему. 15 хоровъ пѣвчихъ—значитъ 15 различныхъ кружковъ и вѣдомствъ, имѣвшихъ возможность для этого снарядить пѣвчихъ. Какимъ образомъ составилась такая громадная манифестація—это составляетъ немалую загадку.

Очевидно, она составилась вдругъ, безъ всякой предварительной агитаціи, безъ всякихъ подготовленій, уговоровъ и распоряженій, потому что никто не ожидалъ смерти Достоевскаго, и время между неожиданнымъ извѣстіемъ о ней и похоронами (три дня) было слишкомъ коротко для какихъ-нибудь обширныхъ приготовленій. Слѣдовательно, почти каждая изъ 67 депутацій имѣетъ свою особенную исторію», *свое* признаніе величія умершаго писателя.

VII.

ИТОГИ

Что далъ намъ Достоевскій.—Кающійся интеллигентъ. — Разладъ съ народомъ.—Необъятная сила.

Что-же далъ намъ Ѳед. Мих. Достоевскій, какъ литераторъ, какъ общественный дѣятель? Постараемся отвѣтить на этотъ вопросъ sine ira et studio. Но сначала замѣтимъ, что этотъ вопросъ вводитъ насъ въ самую трудную область идей, а Достоевскій все-же прежде всего былъ художникомъ. Но его постоянно тянуло къ публицистикѣ, къ злобѣ дня. Даже многіе его романы, напр., «Бѣсы», имѣютъ очень замѣтную публицистическую тенденцію. Да и въ остальныхъ произведеніяхъ онъ формой разсказа часто прикрываетъ проповѣдь. Поэтому насчетъ идей Достоевскаго можно бы толковать съ полной основательностью, не будь у него даже «Дневника Писателя». Онъ всегда откликался на самое насущное, что выдвигала жизнь. Иногда съ большой легкостью превозглашалъ онъ, что Константинополь долженъ быть нашъ и что совсѣмъ уже пришла пора захватить его въ свои руки; иногда утверждалъ, что завершеніе европейской культуры—наше, русское дѣло. Конечно, такое мнѣніе очень пріятно. Но на немъ, какъ и на всѣхъ взглядахъ Достоевскаго о взаимныхъ отношеніяхъ Россіи и Европы теперь останавливаться не будемъ: объ этомъ нами достаточно сказано въ двухъ послѣднихъ главахъ.

Обратимся къ другой сторонѣ взглядовъ его, когда онъ говоритъ о народѣ и интеллигенціи, думаетъ о нихъ, страдаетъ за нихъ. Уже одно его отношеніе къ народу дало бы ему полное право на безсмертіе, а онъ къ тому же былъ и великимъ художникомъ, великимъ психопатологомъ. Сочувствіе къ народу, стояніе за него, даже подвижничество появилось у Достоевскаго еще въ юные годы. Осо-

бенно рѣзкую форму это «стояніе» приняло во время участія въ дуровскомъ кружкѣ. Тутъ Достоевскій часто говорилъ объ ужасахъ крѣпостного права, часто называлъ его самымъ мерзкимъ и отвратительнымъ явленіемъ русской жизни. Образъ крѣпостного мужика являлся въ его глазахъ однимъ изъ воплощеній безысходнаго горя, того громаднаго и мутнаго потока униженности и оскорбленія, который такъ жестоко, такъ бурно разливается по всей жизни. Достоевскій былъ впечатлителенъ, всякое чужое страданіе болѣзненно даже раздражало и мучило его. Онъ не могъ выносить никакого насилія, хотя и утверждалъ, что въ каждомъ человѣкѣ есть наклонность къ мучительству. Но самъ онъ никого не мучилъ, въ самомъ-то въ немъ никакой жестокости не было. Наоборотъ даже. «Всѣ мы вышли изъ гоголевской Шинели»—говорилъ онъ, и съ этого ясно выраженнаго сочувствія къ униженному и оскорбленному и началась его литературная дѣятельность. Никогда даже въ голову ему не приходила мысль, что страданіе Сони Мармеладовой, напр., необходимо, законно. Торговлю человѣкомъ онъ заклеймилъ съ большей силой, чѣмъ кто нибудь до него. Дѣйствительно, онъ проповѣдывалъ смиреніе, онъ признавалъ, что страданіе полезно... но только для кого?—для гордаго *интеллигента*, прежде всего полагающаго, что онъ имѣетъ право распоряжаться по своему образцу съ жизнью и перестраивать ее... Этому Достоевскій говорилъ: «смирись, гордый человѣкъ»...

Въ общемъ-же великомъ движеніи всей лучшей части русской литературы и русской интеллигенціи—въ стремленіи сблизиться съ народомъ, въ проповѣди той теперь уже ясной мысли, что забывши о народѣ, *внѣ* народа, такъ сказать, нельзя сдѣлать ничего, Достоевскій все равно какъ своей публицистикой, такъ и нѣкоторыми своими произведеніями сыгралъ большую и, по нашему мнѣнію, несомнѣнно плодотворную роль. Правда, мы не раздѣляемъ нѣкоторыхъ мистическихъ идей Достоевскаго и не настолько увлекаемся имъ, чтобы не видѣть, какъ его нервный, истерическій темпераментъ постоянно вводилъ его въ противорѣчіе съ самимъ собой и заставлялъ высказывать совсѣмъ не остроумные парадоксы вродѣ того напр., что народъ ищетъ страданія, но намъ думается, что міросозерцаніе Достоевскаго безъ его мистическихъ и шовинистскихъ угловатостей очень просто, ясно и не можетъ остаться непонятымъ ни однимъ изъ русскихъ интеллигентовъ. Краеугольный камень этого міросозерцанія *народъ*, грязный, приниженный, сквер-

ный, но сохраняющій въ глубинѣ души своей внутреннюю, высокую правду. Внѣ народа, забывши о народѣ—нѣтъ правдивой жизни, нѣтъ настоящей дѣятельности. Уклоняясь во многомъ, Достоевскій въ этомъ пунктѣ по крайней мѣрѣ сходился со всѣми лучшими умами русской интеллигенціи. Его отношеніе къ народу бережно-любовное. Напомнимъ хотя-бы приведенный выше разсказъ о мужикѣ Марѣ. Благодаря такому-то красугольному камню любви къ народу, русская литература и русская интеллигенція имѣютъ передъ собой несомнѣнно великую будущность, въ которой не забудется конечно и имя Достоевскаго. Онъ тоже интеллигентъ и даже одинъ изъ вождей интеллигенціи... А что такое русская интеллигенція? Позволю себѣ привести одинъ отрывокъ, нѣсколько рѣзкій по формѣ, нѣсколько крайній по мысли, но недурно передающій самую суть дѣла. Вотъ онъ въ видѣ рѣчи, обращенной однимъ дѣйствующимъ лицомъ разсказа къ другому: «Скажу я тебѣ, что всероссійская интеллигенція самая лучшая и привлекательная изъ всѣхъ существующихъ. Обойди ты весь свѣтъ и ничего подобнаго ей-не найдешь. Это своего рода роскошь и великолѣпіе, недостаточно еще оцѣненное, но поразительно прекрасное. И суть ея жизни именно въ этой самой *совѣстливости*. Ступай куда угодно — въ Америку, во Францію, въ Англію или хоть въ Патогонію, и начни ты проповѣдывать, что личное счастье — незаконно, что любовь, эгоизмъ и пр. — преступны. Да отъ тебя всѣ отвернутся. Какъ это такъ, что личное счастье не законно? Да что-же законно послѣ этого? А русскій интеллигентъ пойметъ это и прочувствуетъ. Съ той самой минуты, какъ онъ проснулся, онъ почувствовалъ упреки и угрызенія совѣсти и сталъ онъ философствовать. Беретъ онъ, напр., въ руки булку и сейчасъ-же передъ его совѣстливымъ воображеніемъ какая нибудь плантаторская картина. «Хлѣбъ воздѣланный рабами!» говоритъ онъ, и эта самая булка кажется ему горькою. Онъ любитъ, а передъ его глазами униженный «меньшой братъ», продающій за пятакъ все свое *человѣческое* достоинство, и любовь теряетъ въ его глазахъ всю свою привлекательность. Онъ помѣшался на народѣ, онъ ищетъ пути, чтобы приблизиться къ нему и слиться съ этой молчаливой массой, тысячелѣтіе выносившей на плечахъ всю русскую исторію. Безъ этого народа, безъ любви къ нему, любви дѣтской, наивной, мистической—немыслимъ россійскій интеллигентъ. Посмотри-ка, что онъ теперь дѣлаетъ: сколько тоски, сколько совѣ-

стливости въ его постоянныхъ исканіяхъ правды и именно мужицкой, народной правды. Онъ отрекается отъ всего, что составляетъ гордость и счастье обыкновеннаго смертнаго.. Оттуда-то, изъ этихъ деревень, изъ этихъ болотъ и полей черноземныхъ русская интеллигенція всегда получала и получаетъ свое душевное содержаніе. Ей совѣстно, именно совѣстно жить, забывъ мужичка, и отъ него-же заимствовала она свою знаменитую формулу: «жизнь по *правдѣ*» — а не по *праву* или доктринѣ. Если на западѣ господствуетъ наука, сознаніе необходимости—юридической или исторической все равно—то у насъ—*любовь*. Мы вѣруемъ въ нее, какъ въ какую-то таинственную силу, которая сразу разрушитъ всѣ преграды и установитъ новую жизнь прямо въ одно мгновеніе, безъ всякихъ этихъ «развитій экономическихъ противорѣчій.» Въ головѣ и сердцѣ каждаго русскаго интеллигента вѣчно сидитъ этотъ образъ новой, *любовной* жизни, и если мы когда нибудь чѣмъ нибудь искренне вдохновлялись, то именно этой правдивой жизнью, основанной на любви къ ближнему, не признающей ни какихъ формулъ кромѣ тѣхъ, которыя диктуются сердцемъ...» Такова одна изъ формъ русскаго народничества, къ которой довольно рѣзко примыкалъ Достоевскій.

Народъ и оторванный отъ народа интеллигентъ—это противорѣчіе больше всего занимало и мучило Достоевскаго. Къ оторванному отъ народа интеллигенту онъ былъ положительно безжалостенъ. Не стѣсняясь, выставлялъ онъ его въ самомъ ужасномъ видѣ, напр. въ «Бѣсахъ», требовалъ отъ него не только покаянія, но и страданія. Сердце Раскольникова открылось только на каторгѣ. Каторга была нужна ему, необходима даже. Въ чемъ-же вина его? Прежде всего въ гордости—и послѣ всего въ гордости. Эта гордость личной мысли, это самомнѣніе личнаго чувства, это властность личной воли. За это нужно наказывать, нужно страдать. Такой человѣкъ прежде всего смириться долженъ, чтобы понять, что не одинъ онъ въ жизни, что до личнаго его счастья никому и дѣла-то въ сущности нѣтъ, что никакого права требовать его онъ не имѣетъ. Онъ виноватъ, думалъ Ѳ. М., понимая свободу только(!) какъ разнузданность желаній, какъ право и возможность дѣлать все, что захочется, что идея равенства отражается въ немъ, прежде всего, какъ зависть къ другимъ, болѣе имущимъ.

Свобода и равенство и для Достоевскаго великія вещи, но

понимаетъ онъ ихъ иначе. «Настоящая свобода — говоритъ онъ—это одолѣніе своей воли такъ, чтобы подъ конецъ достигнуть такого нравственнаго состоянія, чтобы всегда, во всякій моментъ, быть самому себѣ настоящимъ хозяиномъ». Равенство-же не зависть, не желаніе взять у другого то, чего у тебя нѣтъ, а сознаніе своего человѣческаго достоинства, которое у всѣхъ то же самое. Поэтому-то герои «Бѣсовъ», Раскольниковъ, карамазовщина и вызывали со стороны Достоевскаго такой жестокій судъ, такой строгій приговоръ. Онъ безжалостно казнитъ всѣ тѣ явленія русской жизни, которыя пристрастна обобщилъ подъ общимъ наименованіемъ «анархическій индивидуализмъ». Такой индивидуализмъ ничего не видитъ въ жизни кромѣ себя, своей воли и полагаетъ, что все должно служить ей, все—средства для ея удовлетворенія, т. е. для счастья. Это счастье Достоевскій отрицалъ совершенно. Жизнь всегда представлялась ему ужасно труднымъ, ужасно серьезнымъ дѣломъ, своего рода подвигомъ, который каждому надлежитъ осуществить по мѣрѣ силъ и способностей. Осуществить же его можно только при самоотреченіи, извѣстномъ даже аскетизмѣ. Себя забыть надо, а полюбить дѣло; себя побѣдить надо прежде, чѣмъ взяться за него. Отрицая права на личное счастье, Достоевскій тѣмъ энергичнѣе проповѣдывалъ личное самосовершенствованіе, борьбу съ той самой карамазовщиной и анархизмомъ, которые сидятъ въ каждомъ изъ насъ. Все личное, индивидуальное, самовольное—грѣховно, и типъ кающагося грѣшника—любимый типъ Достоевскаго. Онъ даже романъ хотѣлъ писать подъ заглавіемъ «Великій грѣшникъ». Не то, чтобы онъ требовалъ отреченія отъ себя, своихъ силъ и способностей: онъ ненавидѣлъ, преслѣдовалъ только личную волю, стремленіе къ личному счастью. Его любимецъ — это старецъ Зосима въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Грѣшилъ человѣкъ, много грѣшилъ, кутилъ, распутничалъ, на другого поднималъ руку. И пострадалъ онъ именно за *властность* своей натуры, за то, что смѣлъ самого себя противоставить обществу, принять себя, свое достоинство за нѣчто высшее, чѣмъ достоинство другого человѣка; онъ спасся смиреніемъ, онъ сталъ человѣкомъ, лишь отрѣшившись отъ своего «я», выбросивъ изъ головы даже мысль, что это «я» есть нѣчто особенное, исключительное, такое, что имѣетъ право на «все». Послѣ побѣды надъ собой, можно и должно начинать дѣятельность. Гдѣ-же, въ чемъ найти ее?—Въ служеніи народу.

Эту мысль Достоевскій десятки разъ повторяетъ въ своемъ «Дневникѣ», призывая каждаго принести «хоть лепту». Не о великомъ дѣлѣ надо заботиться, а чтобы было оно любовно, чтобы исходило оно отъ сердца и шло въ народъ. «Не раздача имѣній обязательна—говоритъ онъ напр.—и не надѣвайте зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь рѣшимость ваша дѣлать все ради дѣятельной любви, все что возможно вамъ, что сами искренне признаете для себя возможнымъ. Всѣ-же старанія опроститься—лишь одно только переживаніе, невѣжливое даже (по отношенію къ народу) и васъ самихъ унижающее. Вы слишкомъ сложны, чтобы опроститься, да и образованіе ваше не позволитъ вамъ стать мужикомъ. Лучше мужика вознесите до вашей осложненности. Будьте только искренни и простодушны. Это лучше всякаго опрощенья. Одна награда вамъ—любовь, если ее заслужите. Вѣдь глупъ мужикъ, дикъ мужикъ, необразованъ онъ какъ же говорить; что дѣла нѣтъ?..»

Достоевскій выдвигалъ всегда Россію на первое мѣсто. Онъ предсказывалъ ей великую и высокую будущность. Въ чемъ-жъ видѣлъ онъ залогъ этой великой и высокой будущности? Въ нашемъ *демократизмѣ*, въ повсюду, по всѣмъ классамъ общества распространенномъ сознаніи, что народу *служить* надо. Вотъ его слова: «правда, много въ теперешнихъ демократическихъ заявленіяхъ лжи и фальши, много и журнальнаго плутовства, много увлеченія... Тѣмъ не менѣе честность, безкорыстіе, прямота и откровенность демократизма въ большинствѣ русскаго общества не подвержены уже никакому сомнѣнію. Въ этомъ отношеніи мы, можетъ быть, представили или начнемъ представлять собою явленіе, еще не объявлявшееся въ Европѣ, гдѣ демократизмъ до сихъ поръ и повсемѣстно заявилъ себя еще только, воюетъ, а побѣжденный (будто-бы) верхъ еще и теперь даетъ страшный отпоръ. Нашъ верхъ побѣжденъ не былъ, но верхъ самъ сталъ демократиченъ, или, вѣрнѣе, народенъ, и кто-же можетъ отрицать это? А если такъ, то согласитесь сами, что насъ ожидаетъ счастливая будущность. И если въ настоящемъ еще многое неприглядно, то покрайней мѣрѣ позволительно питать большую надежду, что временныя невзгоды демоса непремѣнно улучшатся подъ неустаннымъ и безпрерывнымъ вліяніемъ впредь такихъ огромныхъ началъ (ибо иначе назвать нельзя), какъ всеобщее демократическое настроеніе и всеобщее согласіе на то всѣхъ русскихъ людей, начи-

ная съ самаго верха.» Тутъ конечно много идеализаціи, но идеализаціи хорошей.

Какъ же смотрѣлъ Достоевскій на народъ, разъ служеніе ему является первымъ самымъ большимъ и важнымъ дѣломъ въ жизни интеллигента? «Обстоятельствами всей почти русской исторіи—говоритъ онъ, народъ нашъ до того былъ преданъ разврату и до того былъ развращаемъ, соблазняемъ, мучимъ, что еще удивительно, какъ онъ дожилъ, сохранивъ человѣческій образъ, не то что сохранивъ красоту его. Но онъ сохранилъ и красоту своего образа. Кто истинный другъ человѣчества, у кого хоть разъ билось сердце по страданіямъ народа, тотъ пойметъ и извинитъ всю непроходимую пакостную грязь, въ какую погруженъ народъ нашъ, и сумѣетъ въ этой грязи найти бриллiанты. Повторяю: судите русскій народъ не по тѣмъ мерзостямъ, которыя онъ часто дѣлаетъ, а по тѣмъ великимъ и свѣтлымъ вещамъ, по которымъ онъ и въ самой мерзости своей постоянно вздыхаетъ. Идеалы его чисты, сильны и святы». Это — христіанскіе идеалы. Они проявляются въ отреченіи отъ самого себя, въ стремленіи послужить другому, въ любви и состраданіи къ несчастному. Или вотъ какія, между прочимъ, наблюденія надъ народомъ сдѣлалъ Достоевскій на каторгѣ: въ каждомъ мужикѣ, даже арестантѣ, онъ увидѣлъ не только чувство правды, *душу*, но и сознаніе собственнаго достоинства, требованіе *справедливости*.

«Высшая и самая рѣзкая характеристическая черта нашего народа,—это чувство справедливости и жажда ея».—Или: «Арестантъ самъ знаетъ, что онъ арестантъ—отверженецъ, и знаетъ свое мѣсто передъ начальникомъ; но никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь забыть его, что онъ человѣкъ. А такъ какъ онъ дѣйствительно человѣкъ, то, слѣдственно, и надо обращаться съ нимъ почеловѣчески. Боже мой! да человѣческое обращеніе можетъ очеловѣчить даже такого, на которомъ давно уже потускнѣлъ образъ Божій. Съ этими-то несчастными и надо обращаться наиболѣе почеловѣчески». Какой вмѣстѣ съ тѣмъ глубокой гуманностью проникнуто его отношеніе къ арестантамъ. Вездѣ онъ не только жалѣетъ ихъ, онъ въ нихъ видитъ людей, онъ за ними признаетъ человѣческое достоинство: «И сколько въ этихъ стѣнахъ погребено напрасно молодости, сколько великихъ силъ погибло здѣсь даромъ. Вѣдь надо уже все сказать: вѣдь этотъ народъ необыкновенный былъ народъ. Вѣдь это,

можетъ быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, *незаконно*, безвозвратно. А кто виноватъ?.. То-то, кто виноватъ».

Въ каждомъ человѣкѣ *личность* есть, сознаніе собственнаго достоинства, стремленіе къ счастью, требованіе справедливости. Подавите все это, оно непремѣнно проявится, хоть судорогой, но проявится. Припомните разсужденіе Достоевскаго о значеніи денегъ въ острогѣ, или вотъ этотъ глубоко-замѣчательный отрывокъ:

«Удивляются иногда начальники, что вотъ какой нибудь арестантъ жилъ себѣ нѣсколько лѣтъ такъ смирно, примѣрно, даже десяточнымъ его сдѣлали за похвальное поведеніе, и вдругъ рѣшительно ни съ того, ни съ сего,—точно бѣсъ въ него влѣзъ,—зашалилъ, накутилъ, набуянилъ, а иногда даже просто на уголовное преступленіе рискнулъ, или на явную непочтительность передъ высшимъ начальствомъ, или убилъ кого нибудь, или изнасиловалъ и проч. Смотрятъ на него и удивляются. А между тѣмъ, вся-то причина этого внезапнаго взрыва въ томъ человѣкѣ, отъ котораго всего менѣе можно было ожидать его,—это тоскливое, судорожное проявленіе личности, инстинктивная тоска по самомъ себѣ, желаніе заявить себя, свою приниженную личность, вдругъ появляющееся и доходящее до злобы, до бѣшенства, до омраченія разсудка, до припадка, до судорогъ. Такъ, можетъ быть, заживо схороненный въ гробу и проснувшійся въ немъ колотитъ въ свою крышку и силится сбросить ее, хотя, разумѣется, разсудокъ могъ-бы убѣдить его, что всѣ усилія останутся тщетными. Но въ томъ-то и дѣло, что тутъ уже не до разсудка, тутъ судороги».

Правда такіе взгляды на народъ оказались слишкомъ «здравыми» для Достоевскаго. Впослѣдствіи они приняли другую, очень замѣтную окраску. Не чувство справедливости, не собственное достоинство выдвигалось уже на первый планъ—а смиреніе, способность побѣждать жизненное зло внутренней силой. Народъ за этотъ послѣдній періодъ является для Достоевскаго великой, *молчаливой* массой, въ глубинѣ которой таится вся жизненная правда, рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, помощью любви, вѣры, нравственнаго первенствующаго во всемъ начала. Это такъ сказать кладезь всей сердечной премудрости, основа всего будущаго нашего и европейскаго, и

мѣнять его жизнь по собственной програмѣ, по собственнымъ интеллигентнымъ идеаламъ не только нельзя, но и прямо грѣховно. Народъ лучше знаетъ, что ему надо, и прежде всего надо выслушать его.

Съ какой-то ненавистью даже Достоевскій отгонялъ отъ своего излюбленнаго народа всѣхъ интеллигентныхъ реформаторовъ. Что есть у тѣхъ? Наука, свои идеалы, свои страсти. У народа —больше: у него правда. «Послушаемъ сѣрыхъ зипуновъ, писалъ Достоевскій въ послѣднемъ номерѣ своего дневника, что-то они скажутъ... А мы пока постоимъ въ сторонкѣ, чтобы научиться.» Иногда-же отрицаніе права интеллигенціи вмѣшиваться въ народную жизнь принимала гораздо болѣе рѣзкую и раздраженную форму. Парадоксальный, быстро раздражающійся, всегда рѣшающійся на крайности умъ не зналъ удержу и въ этомъ вопросѣ. Но все-же Достоевскій народникъ прежде всего, народникъ потому, что изъ всѣхъ факторовъ русской жизни народъ самый важный, большой. Внѣ народа нѣтъ дѣятельности, нѣтъ жизни. Это — сила, которой предназначено претворить въ себѣ все и разрѣшить всѣ наши вопросы однимъ великимъ, выстраданнымъ принципомъ— *любовью.*

Итакъ: обращеніе къ народу, служеніе ему въ духѣ христіанской любви и правды—таковъ завѣтъ Достоевскаго русской интеллигенціи. Всякій оторвавшійся отъ народной почвы гибнетъ, какъ рыба, выброшенная на сухую землю. Въ сближеніи съ народомъ наше будущее. Наше *обновленіе* началось съ него, т. е. съ этого сближенія, на путь котораго вступилъ Пушкинъ. «Все, что есть истинно прекраснаго въ нашей литературѣ,—говоритъ Достоевскій,—все взято изъ народа, начиная съ смиреннаго простодушнаго типа Бѣлкина, созданнаго Пушкинымъ. Не буду ужь упоминать о чисто народныхъ пѣсняхъ, созданныхъ въ наше время, но вспомните «Обломова», вспомните «Дворянское гнѣздо» Тургенева. Тутъ, конечно, не народъ; но все, что въ этихъ произведеніяхъ Гончарова и Тургенева вѣковѣчнаго и прекраснаго—все это отъ того, что они въ нихъ соприкоснулись съ народомъ. Это соприкосновеніе съ народомъ придало имъ необычайныя силы».

Такія же «необычайныя силы» получитъ и вся русская интеллигенція, соприкоснувшись, сблизившись съ народомъ, отдавши на служеніе ему всѣ силы. Народъ сторицею возвратитъ за это, научивъ ее своимъ христіанскимъ идеаламъ.

DUKE UNIVERSITY LIBRARIES
F. Dostoevskii, ego zhizn i lit
891.73 D724ZSO
D90353574-